ГЕОРГИЙ БАЖЕНОВ

ЛОВУШКА ДЛЯ АДАМА И ЕВЫ (СБОРНИК)

Георгий Баженов

Ловушка для Адама и Евы (сборник)

«Баженов Георгий Викторович»
1997

ББК 84

Баженов Г. В.

Ловушка для Адама и Евы (сборник) / Г. В. Баженов — «Баженов Георгий Викторович», 1997

ISBN 5-7838-0134-8

Любовь, семья, дети – вот три кита, на которых стоит проза известного русского писателя Георгия Баженова. Нежность и страсть, верность и измены, безумство ревности и страдания от неразделенной любви – именно то, о чем рассказывает писатель в своей книге.

ББК 84

ISBN 5-7838-0134-8

© Баженов Г. В., 1997
© Баженов Георгий Викторович, 1997

Содержание

I 5
Мама 5
Меч между мной и тобой 28
Однажды и навсегда 57
Глава первая 57
1. Жизнь Гаврилова 57
2. Первое письмо Гаврилова 62
3. Из дневника Гаврилова 62
Глава вторая 63
4. Жизнь Гаврилова 63
5. Второе письмо Гаврилова 69
6. Из дневника Гаврилова 70
Глава третья 71
7. Жизнь Гаврилова 71
8. Письмо Сережи Гавриловым 75
9. Из дневника Гаврилова того времени 75
Бегство 76
Пространство и время 88
Конец ознакомительного фрагмента. 90

Георгий Баженов
Ловушка для Адама и Евы. Рассказы и новеллы

I

Мама

I

Скоробогатов нажал на кнопку звонка. Звонок работал плохо (что-то там было с контактом), дребезжал неуверенно, с перебоями. Руки не доходили починить его, а еще лучше – сменить совсем. Все некогда. Или лень. Всегда по дому столько недоделок, чего-то сломанного, требующего починки, мужской руки, что иной раз плюнешь на все – гори оно синим пламенем! – ляжешь на диван, возьмешься за газету, а там смотришь – всхрапнул. Вздрогнешь со сна, стыдно как-то и беспокойно, сытость заедает, лень, а ничего не можешь поделать с собой: яд безделья, душевной прострации давно течет по жилам. Обманываешь себя, жену, да что толку – сам-то про себя давно все знаешь…

Единственное, что по-настоящему встряхивало Скоробогатова, – командировки. После каждой из них он чувствовал себя обновленным, полным энергии, давал себе слово изменить жизнь, все ложное – отринуть и забыть, жить честно, в заботах о семье, с полной погруженностью в работу, одним словом – после командировок Скоробогатов как бы заново рождался для жизни: хотелось движения, правды, каких-то перемен, ощутимых результатов в работе. Жить хотелось!

В этот раз желание изменить жизнь было настолько горячим и нетерпеливым, что Скоробогатов вернулся из командировки на два дня раньше – поскорей засучить рукава и за дело. И вот стоял перед дверью, настойчиво звонил в квартиру.

Впрочем, не настойчиво; звонок дребезжал сам по себе, как всегда с перебоями.

«Надо наконец починить этот дурацкий звонок…»

Дверь открылась; не полностью, а так – слегка приоткрылась.

– Тсс… – приложила палец к губам жена, глядя на него так, будто они расстались не десять дней назад, а всего лишь утром. – У меня мама, – тихо, заговорщически прошептала она.

– О, черт! – вместо приветствия вырвалось у Скоробогатова. Он почувствовал, как весь его радостный, энергичный настрой рухнул, как в преисподнюю. – Ты что, не могла пригласить ее в другой раз? – зло, но тоже шепотом проговорил Скоробогатов.

– Откуда я знала, что ты вернешься сегодня? Ты же обещал послезавтра…

– Откуда… От верблюда! – Кажется, он даже ненавидел сейчас жену. А мать ее ненавидел еще больше. – В собственный дом вернуться нельзя… Дожил!

Жена смотрела на него виновато, но что можно было поделать сейчас?

«Небось, надеется – помирюсь с матерью. Черта с два!» – Скоробогатов шумно вздохнул и, ничего не сказав, обиженно сгорбившись, пошел по лестнице вниз: в руке у него был крепко зажат чемодан.

Он слышал, как щелкнул за спиной замок, и почувствовал в себе новый прилив злобы и раздражения.

Что-нибудь да всегда мешало начать новую жизнь!

Скоробогатов вышел из подъезда, постоял немного в раздумье около дома, посмотрел на освещенные окна своей квартиры: «Расселись там…»

Делать было нечего, поплелся в телефонную будку. Каждый раз, особенно в последнее время, он перебарывал себя, когда звонил Алисе Мартемьяновне. Он редко звал ее по имени, почти всегда – Алиса Мартемьяновна, она платила ему тем же, называла Скоробогатов, изредка – Скоробогатик. Да что Алиса Мартемьяновна, все женщины, включая жену, любили называть его по фамилии. Было в его тяжелой фигуре, несмотря на относительную молодость – тридцать три года, – что-то такое, что заставляло их обращаться к нему подчеркнуто вежливо и официально. Жена, правда, называла его так не без некоторой насмешки…

– Алиса Мартемьяновна? Здравствуй! Приехал, да… На вокзале стою… В гости? Даже не знаю… Впрочем… Чего-нибудь захватить? Ладно, понял.

Через полчаса Скоробогатов сидел у Алисы Мартемьяновны за столом, а через час лежал в постели. Алиса Мартемьяновна была на двенадцать лет старше Скоробогатова, роман их тянулся три года, последнее время Скоробогатов изрядно тяготился им, нервничал, чувствовал, что в нем иссякает последний родник, заставляющий иногда вздрагивать, метаться: все бросить, изменить, начать новую жизнь, отделаться от Мартемьяновны любыми путями…

Но каждый раз что-нибудь да мешало начать новую жизнь.

– Ты меня разлюбил? – Тяжелая грудь Мартемьяновны, тяжелая рука, тяжелый взгляд, – все взывало к ответу, а Скоробогатов молчал.

– Скоробогатик, я тебе надоела? – И опять этот тяжелый взгляд, а в глазах – искренняя боль, растерянность.

– Любишь же ты говорить о любви в самый неподходящий момент!

– Как это? – недоуменно спросила Алиса Мартемьяновна и чуть приподнялась на локте: – Когда же еще о любви говорить?

– Не видишь – тошно мне?

– А что такое? Почему? Что стряслось-то?

– Что, что… Сам себе надоел! Вот что!

Мартемьяновна облегченно вздохнула.

– Ах, глупый, – сказала она, – глупый ты мой, глупый… – И погладила его ласково по голове.

– Чего тут такого глупого?

– Да ты сам подумай. Умный мужчина – он всегда мучается. Он всегда недоволен собой, страдает. А это только украшает мужчину…

– Да, украсили меня мои страдания! – А про себя подумал: «Нет, в ней догадливость какая-то есть, прозорливость. И ведь добрая, главное. Не обижается никогда. Добрая…»

– Глупый на твоем месте сейчас бы радовался, пыжился: вот я какой, у меня то хорошо, это, я научный работник, у меня молодая жена, квартира, любовница, умею жить… А ты страдаешь. Ты честный в душе, Скоробогатик. Я тебя за это и люблю – что ты чистый внутри. Ты самый лучший у меня, Скоробогатик…

Он почувствовал к ней ток нежности и признательности, обнял ее, легонько притянул к себе, она ответила ему тоже нежностью, и тронулось, и потекло все сначала…

Позже Мартемьяновна то ли забылась, то ли заснула, лежала тихо, удовлетворенно и счастливо дыша, а у Скоробогатова сосало под ложечкой. Тошно ему было, ох тошно… И самое главное – ничего он не понимал и не мог понять в этой жизни, ни в себе, ни в других – ничего, ну совершенно ничего не понимал, так чтобы ясно, достойно, с выводами. Это его мучило больше всего…

Он бы и сам не мог ответить, например, как у него завязалось все с Мартемьяновной. Чепуха какая-то была, ерунда, а в результате… Три года протирает лысину на подушках доб-

рой и сытой Мартемьяновны. И сам он такой же сытый, холеный. А ведь никогда в жизни не любил он женщин старше себя, просто не переваривал их; уж когда занимался этим, то на уме были только девочки, молодые, стройные, и чтоб обязательно в джинсах, в курточках там разных, беспечные, безголовые, но такие, Господи… Такие девочки, чтоб действительно забыться, радость получить, удовлетворение только оттого, что они рядом, похохатывают над тобой, посмеиваются, подтрунивают, но в конце-то концов деваться им некуда, он платит за все – за еду, за вино, за веселье, за роскошь чувствовать себя свободной, красивой, независимой… Он платит – они расплачиваются, и хоть мучают потом угрызения совести (ну, не всегда, не всегда), зато думаешь: эх, хоть не напрасно жизнь идет, красиво было! молодость резвилась и нежилась рядом с тобой! и ты с ней тоже нежился и резвился!

Ах, черт возьми! Девочки – это все же совсем другое, чем вот эта добрая и приветливая Алиса Мартемьяновна…

Но как же все-таки получилось? Как повернулось-то? Как это его, молодого, поймала на крючок именно Мартемьяновна? На двенадцать лет старше его?!

– Черт его знает, прямо наваждение какое-то, – вырвалось у него вслух.

– Что ты? О чем? – сквозь дремоту пробормотала Алиса Мартемьяновна. Пробормотала, обняла его покрепче: милый ты мой, залётный…

– Спи, спи… – сквозь зубы (как бы ласково, что ли) процедил он. А про себя подумал: «И не спрячешься от нее. Все слышит…»

Был у них тогда обычный загул, завелись с Серегой Петрухиным. О, Сергей Сергеич, тот ловелас большой, специалист тончайший по современным девочкам! Кажется, отмечали тогда премию – кафе, музыка, длинные сигареты в тонких девичьих пальцах, колечки летящего дыма, то пристальные, то насмешливые, то приценивающиеся взгляды. Серега знал, что делал, он ни к кому не приставал, ни с кем не заигрывал, он разговаривал только с ним, со Скоробогатовым, говорил, что такое жизнь, говорил всерьез: жизнь – это все вместе, низость и доброта, подлость и честность, и ты такой, и я, и вот она, и вон та тоже, все мы – такие… Они только разговаривали, не танцевали, не озирались по сторонам – взрослым мужчинам до лампочки все эти разнопёрые мальчики и девочки, особенно, конечно, мальчики, девочки могут и обратиться к ним, пожалуйста, не жалко, вам сигаретку? – пожалуйста! – огонька? – с превеликим удовольствием! – занято ли у нас? – нет, свободно, садитесь, располагайтесь… Они разговаривают, а девочки уже клюнули, сидят рядом, им это в диковинку, что на них совершенно не обращают внимания – простите, который час? – двадцать два ноль-ноль! – отвечает Сергеич вежливо, оторвавшись от разговора всего лишь на секунду… Потом все, конечно, становится на свои места, они вдвоем, а девочек вокруг много, шутки, прибаутки, ты присматриваешься, к тебе присматриваются; оказывается, девочки – практикантки, будущие филологини или что-то в этом роде; о, литература, великая русская литература, великая мировая литература, тут Сергеичу дай только место на трибуне, о литературе он говорить мастак, а будешь вспоминать потом, о чем шел разговор, – ни за что не вспомнишь: дымная благость слога, красивая заумь речений, несусветный трёп! Кончилось все тем, что оказались они в какой-то квартире, танцевали, веселились, целовались на брудершафт, дальнейшее провалилось для Скоробогатова во мрак…

Очнулся он за полночь; чужая комната; горит бра; в углу, за столиком, сидит женщина; извечная женская поза: склонившись над столом, что-то штопает. Скоробогатов ничего не понимал. Таращил со сна глаза. Где он? Кто эта женщина? Он пошевелился на диване. Женщина подняла к нему глаза. Улыбнулась; самое первое и самое главное – она улыбнулась ему:

– Проснулись?

– Да… – Голос у Скоробогатова звучал хрипловато. – Простите… – Он попытался подняться с дивана.

– Ничего, ничего, не беспокойтесь, лежите… Марина мне все объяснила.

– Марина?

– Моя дочь, – снова улыбнулась женщина.

«А, Марина…» – с трудом вспомнил Скоробогатов. Кажется, это девочка, которая понравилась ему… Неужто это ее мать? Ну и влип, идиот…

– А где же Николай? – спросила женщина.

– Николай?

– Ну да, это муж Марины. Вы его не знаете?

– Знаю, знаю, как же… – забормотал Скоробогатов, как бы опомнившись. «Черт, она еще и замужем… Ну дела!»

– Да не стоит притворяться! – Женщина весело рассмеялась. – Вы ведь впервые Марину видели? И всю ее компанию?

– Нет, почему же… – снова забормотал Скоробогатов.

– Да вы не стесняйтесь. Молодежь нынче такая – ей все равно, с кем веселиться. Сегодня они раскрутили вас. Завтра другого. А там еще кого-нибудь. Я уж привыкла.

«Да-а…» – думал он.

– Пока я на работе, Марина часто компании приводит. Я разрешаю. А что, лучше по улицам слоняться или в парках прятаться?

Скоробогатов не ответил. Он удивлялся. Он понять хотел. А ничего пока не понимал.

– Живет-то она с родителями Николая. У них трехкомнатная. Ну, а если веселиться хотят – тогда у меня. Пока я на работе.

«Понятно…»

– Вас как зовут-то? – в который раз улыбнулась женщина.

– Валерий. Валерий Иванович Скоробогатов.

– Скоро богатым будете, – пошутила она. – А меня – Алиса Мартемьяновна.

«Да-а…»

– Живу вот одна. В однокомнатной квартире. Ничего, не жалуюсь… Дочь замуж выдала…

– Ох, – встрепенулся Скоробогатов, – поздно уже. Домой надо… – И начал было всерьез подниматься с дивана.

– Да куда вы, лежите спокойно… Три часа ночи.

– Как три?

– Да так, – улыбалась Алиса Мартемьяновна, – очень просто. Давно ночь на дворе.

Через три дня Скоробогатов позвонил ей. Сам не знал, почему позвонил. Все это время Серега, Сергей Сергеич Петрухин, подсмеивался над ним, подтрунивал, все спрашивал, есть ли разница между сорокалетней и двадцатилетней. Скоробогатов всерьез обижался, даже злился, ведь Петрухин бросил его тогда, увез девочек к себе на квартиру, а Скоробогатова всей компанией весело и безмятежно оставили у Алисы Мартемьяновны, будто так и надо было. И он остался… И вот до сих пор это тянется…

Скоробогатов осторожно высвободился из объятий Алисы Мартемьяновны.

– Куда ты? – все-таки и тут успела пробормотать она сквозь сон.

– Да так, надо. Ну что ты, в самом деле…

Он накинул халат (подарок Алисы Мартемьяновны), которым пользовался лишь когда бывал у нее в гостях, сходил в ванную, забрел на кухню, постоял, посмотрел на сотни горящих в ночи живых человеческих окон, поставил чайник, вернулся в комнату. Алиса спала. Кажется, спала безмятежно. Странное дело, взрослая женщина, настолько взрослая, что раньше Скоробогатов и не обращал на подобных внимания, она выглядела сейчас совсем девочкой – так сладко спала, такое детское простодушное у нее было выражение лица, такая добрая играла на ее губах улыбка, улыбка еле-еле приметная… Скоробогатов и сам не заметил, как, разглядывая Алису, начал любоваться ею.

Осознал это, вздрогнул, нахмурился. Сел за стол. Никто никогда ничему изящному не учил эту женщину, а между тем все у нее было со вкусом, отдавало теплом, нежностью, добротой. Странно, очень странно…

Неизвестно почему, вдруг вспомнился Петрухин. Он всегда говорил об Алисе только сальности и гадости… Но почему? Не верил в искренность привязанности Скоробогатова к ней? Не понимал? И то, и другое – не верил, не понимал. Да и куда ему понять, когда Скоробогатов и сам мало чего понимал… Он вспомнил название темы, над которой они бились всем отделом только для того, чтобы Петрухин, начальник отдела, защитил в конце концов диссертацию… И во что же ему верить тогда, в какую правду, этому Петрухину? Неудивительно, что он циник. «Взаимопроникновение и взаимовлияние макро – и микромиров». Что нового могут сказать они на эту тему, если мало кто в отделе верит в нужность и серьезность поставленной проблемы? А ведь люди все образованные, после институтов и университетов, у каждого семья, дети, ежедневная работа; но если все это не всерьез, а как бы для временной и пространственной галочки, то когда тогда жить всерьез? На какую такую вторую или третью жизнь надеяться? Отчего вообще живется так, будто нет суда ни в нас, ни вне нас, – отчего?!

– Да ты на себя вначале посмотри! – опять вслух сказал Скоробогатов.

– Ты о чем?.. – сквозь сон пробормотала Алиса Мартемьяновна. – Ну что ты, ложись, чего ты там сидишь?..

– Я чайник поставил. Жду. – Он и в самом деле поднялся, сходил на кухню.

Потом сидел, пил чай, было вкусно, не светлело только на душе.

Может, он и в самом деле любил Алису?

Когда он бывал у нее, а одно время он заглядывал сюда чуть ли не каждый вечер, он чувствовал себя – на удивление – полноценным человеком, и знал это в себе, и мучился, и много, бессчетное число раз давал себе слово, как будто в какой-то агонии, изменить свою жизнь, но ничего не мог сделать… Чего не хватало? Характера? Смелости? Цельности? Высшей идеи?

Поди попробуй разберись…

Теща, Наталья Михайловна, пожалуй, еще при первом знакомстве с ним сделала вывод: он не мужчина. Она сказала об этом и дочери, причем так, чтобы Скоробогатов слышал слова и знал о ее мнении: «Нынче, Ниночка, очень много разного народа, которые все около, около, около, а где же настоящие мужчины?» Настоящие мужчины, по ее мнению, это, например, бывший ее муж Федор Алексеевич (Скоробогатов никогда его не видел и видеть, естественно, не мог – Федора Алексеевича не было в живых лет двадцать), который родом был из простой крестьянской семьи, абсолютным неучем появился в городе, окончил не только разные там курсы, но и институт, рабочий факультет, пошел в промышленность, не жил – горел, от рядового техника-механика дошел до директора завода, умер у себя в кабинете, в кресле, от разрыва сердца… Скоробогатов заочно уважал этого человека, но вот перенести свое чувство на тещу не мог. Не хватало великодушия, широты натуры, что ли, – уважать и любить человека, который заведомо считает тебя рохлей и неудачником. Именно вот это главное – заведомо…

С каким облегчением расстался Скоробогатов с Натальей Михайловной, когда наконец они получили с Ниной собственную квартиру. Жизнь рядом с тещей была для Скоробогатова пыткой, живым жжением на костре. Переехав на новую квартиру, он навсегда вычеркнул Наталью Михайловну из своей жизни, сказав жене: «Вы можете встречаться сколько угодно, но меня уволь…» Теща приезжала к ним в гости, только когда Скоробогатова не было дома; или, если нужно было, Нина сама ездила к матери…

Очнулась ото сна (как бы вздрогнула) Алиса Мартемьяновна. Накинула халат, улыбнулась, подошла к Скоробогатову.

– Горюешь? Не надо, не мучайся… – прижала его голову к мягкому теплому животу. – Как бы эту тоску несчастную из тебя вытащить? Ну что ты, Скоробогатик, что с тобой?..

Он не отвечал, не шевелился; ему было тепло, уютно чувствовать ее мягкий живот, ее нежные ласковые руки, слышать слова ее, идущие от сердца. За что, почему она так хорошо относится к нему? Разве он заслуживает этого?

Он молчал; она села рядом, взяла его руки в свои.

– Хочешь бросить меня?

Разве ответишь на такое, чтобы все было по правде?

– А зачем тебе бросать меня? – Она улыбнулась, но не горько, не укоряюще, а как мать улыбается, когда объясняет что-то очень простое, жизненное своему заблудшему чаду. – Мне ничего не надо от тебя, даже вот этого, – она кивнула на постель, – ты же знаешь… Просто – приходи, когда тебе нужно. Когда тебе плохо. Ведь надо же человеку куда-то деваться, когда ему плохо? Просто приходи, посиди, отдохни. Побудь у меня. Больше ничего не надо.

– Алиса, за что ты так относишься ко мне?

– Эх, глупый, если б знать, отчего курица не птица, а лев не воробей… Ни за что. Просто так. Мало этого?

– Но ведь я обманываю тебя.

– Я знаю. И потом, – она улыбнулась, – это не ты обманываешь меня, это жизнь заставляет тебя обманывать меня.

– Я тебя ненавижу иногда…

– Знаю…

– …потому что только с тобой я как бы настоящий… Но разве что-нибудь может быть настоящим, если в основе – ложь?

– Жизнь – вот правда. А философия – это философия. Умно я научилась говорить? – И весело рассмеялась. – Погоди-ка, я кое-что сейчас принесу! – Она поднялась со стула и вышла из комнаты.

Он и в самом деле ощущал жизнь более настоящей, ценностной, когда бывал у Алисы Мартемьяновны, однако тем обостренней чувствовал себя обманывающим и обманутым. Когда истаяла чувственная любовь к Нине (несмотря даже на то, что жена была на пять лет младше Скоробогатова), когда навеки заварилась каша с тещей, когда опостылела работа, в которой не было главного – смысла единственности, когда окутала его серость и вялость, он не случайно сошелся с Петрухиным, не случайно увлекся девочками, не случайно стал пропадать по вечерам, по ночам – он погнался за призрачностью смысла, который ведь должен же быть где-то в жизни, раз его нигде прежде не встречалось, а вместо смысла нисходило на душу еще большее опустошение. Еще большая растерянность и гнет давили сердце. Каждая девочка, недосягаемая вечером, прекрасная своей молодостью, притягивающая своим иномирием (иным внутренним миром), сложенная, как богиня, и, как богиня, с щедрой расточительностью отдающая свое богатство первому встречному-поперечному, уже на второй день или на вторую встречу казалась Скоробогатову чудовищем. Пусть сильно сказано, но по внутреннему ощущению – это было так, хотя роскошным молодым телом Скоробогатов мог много раз услаждать свою плоть. Но душу?! Но дух?! Отгадка-то в том и была, что все эти молодые девочки не вкладывают в отношения с тобой ни капли душевности, сердечности, они как бы включают тормоза, охраняют свою истинность за семью замками (истинность, но не тело; что тело? – тьфу на него, раз оно может так легко давать то, что другим не дается ни за какие блага, – свободу, раскрепощенность, успех, усладу, обожание, чревоугодие…). Ищущий услады (а вдруг там смысл?), Скоробогатов получал усладу, а заодно опустошение, как антисмысл. И вдруг только однажды, среди всего этого хаоса и разгула плоти, случайно, не ожидая вовсе, что такое может случиться, он ощутил ток встречного чувства, встречной заинтересованности в своей судьбе, когда отнеслись к тебе не как к мужику, у которого на сегодня были бы деньги, а там начхать на твой возраст, на твою лысину, тем более – ах-ха-ха! – на твою душу, да и откуда быть-то ей, душе, в этих стареющих и лысеющих монстрах! – и вдруг посмотрели на тебя не как сквозь стекло, не

как на денежного болвана, который сегодня сокол, а завтра хоть курица, не как на запылённого и посыпанного пеплом старого лопуха, а – *глазами* посмотрели, *человеческими,* в которых светилось понимание, боль, сострадание. Не только понимание, а вот это главное – сострадание!

И чьи это оказались глаза?

Алисы Мартемьяновны.

Он-то, Скоробогатов, за дочерью ее погнался, за молодостью, за опустошением, за призрачностью, за унизительным – казалось бы, всегда отрезвляющим – ощущением самого себя в каком-нибудь хвосте туманно-гадкой жизни, а оказался рядом с человеком. Пусть с человеком не с большой буквы, а просто – с настоящим человеком. У которого есть душа. Сердце. Которому сорок с лишним лет. У которого взрослая дочь. Однокомнатная квартира. Посменная работа в заводском техническом коллекторе. Что еще? Доверие к людям! Неизбывность доверия. Мужа не было, был любимый, забеременела, любимый бросил, растворился в мире, во времени и пространстве, она родила, вырастила дочь – а разве озлобилась? Удивительна эта ее неизбывность доверия к людям… Откуда? Почему? Поди попробуй пойми, догадайся…

– Ну-ка, закрой глаза! – сказала Алиса, входя в комнату с руками, спрятанными за спиной.

Скоробогатов покорно закрыл.

– Открывай!

В руках ее Скоробогатов увидел красивый японский брелок с двумя ключами.

– Что это? – И тут же краска смущения или стыда проступила на щеках Скоробогатова, потому что обо всем он догадался сам.

– Считай, тебе дали ордер на квартиру. А это ключи от нее.

– Не надо… – замотал головой Скоробогатов. – Ты что…

– Глупый, зачем же я заказывала их? – Она подошла к нему, села рядом, заглядывая в глаза, которые он упорно отводил в сторону. – Зачем тебе каждый раз ждать, когда я приду домой? Захочешь, приедешь сам, откроешь…

– Не надо, ты что… – бормотал он.

– Боишься, хочу приручить тебя?

– Нет, нет… – мотал он головой.

– А тогда что?

– Не хочу я в квартире без тебя. Ни к чему. Вдруг Марина придет…

– Ну и что? Думаешь, она не знает, что между нами?

– Одно дело – знать, другое дело – когда я тут один торчать буду. Это уж совсем у меня получится… Как два дома. Гарем, да?

Алиса Мартемьяновна, колыхаясь всем своим зрелым, тяжелым, полным телом, от души рассмеялась.

– С ключами – гарем, а без ключей – не гарем?! Эх ты, гаремщик! Вот за что люблю тебя, Скоробогатов, – за наивность, за чистоту… Хоть плюнь в тебя – не пристанет. Откуда ты только такой у меня, горемычный?! Ну, откуда?! – тормошила она его, смеясь незлобно, весело, целуя в голову, в щеки, в губы.

Ночью она опять безмятежно спала; рядом на туалетном столике лежал отливающий голубизной и перламутром японский брелок с ключами. Скоробогатов не спал. Думал. Не было в его жизни никого лучше Алисы Мартемьяновны, она была для него больше, чем любовь, завладела в нем чем-то таким, что он сам так упорно искал в других людях, – завладела его правдой. Скоробогатов боялся Алисы, потому что она знала о нем правду: что он слаб, что он чист, что нуждается в сострадании, и любить его надо, как маленького, не только по-женски, но и по-матерински. Этой материнской понятливости, нежности и доброты в женщинах так всегда не хватало Скоробогатову. Не хватало, чтобы стать просто человеком, полноценно себя ощущающим, а уж потом, думал он, можно было бы и реализоваться – в деле, в науке, в чем

хочешь. Так или не так? Сколько хитрых ловушек и сколько увертливых выходов из ловушек этой жизни! Ведь и отец, и мать до сих пор живы у Скоробогатова, живут на Урале, отец – военный, вся жизнь прошла на службе, не до сына, а мать воспитывала Скоробогатова по книгам, строго, придирчиво, подавляя в нем все, что, казалось ей, выходит за рамки нужного или общепринятого; в конце концов, лишившись детства, маленький Скоробогатов вырос в большого Скоробогатова. Удивительно ли, что так притягивала его к себе Алиса Мартемьяновна?! Она одна заменяла ему всех женщин сразу – и мать, и жену, и любимую, и, может быть, даже дочь, потому что ему тоже хотелось заботиться о ней, как о маленькой, делать приятное, доброе…

И надо же, так любя Алису, он все же боялся ее, даже ненавидел порой! Хотел освободиться от нее! Начать новую жизнь! Какой-то здесь такой поворот был, что Скоробогатову и не под силу было распутать запутанный клубок…

Вот что его мучило все эти годы – невозможность жить в ладу с внутренней правдой! Не мог жить только с женой. Не мог жить только с Алисой. Не мог жить с ними двумя сразу. Не мог жить своей работой. И без работы не мог жить. Не мог жить рядом с Петрухиным. И без Петрухина тоже не мог жить. Все сплеталось и переплеталось в такой клубок, что невозможно вытянуть одну нить, не потянув десятки других…

Неожиданно за входной дверью послышался шум, кто-то вставлял ключ, пытался открыть замок, но там, во-первых, была спущена «собачка», во-вторых, была накинута цепочка.

– Что? Кто там? – встрепенулась Алиса Мартемьяновна.

В дверь между тем уже весело, напористо, почти без перерыва звонили.

Мартемьяновна накинула халат, защелкала замками. Скоробогатов и сам едва успел набросить на плечи халат, когда в квартиру с шумом, гамом и смехом ввалилась компания молодых девчонок и ребят.

– Ой, мамуля, – бросилась дочка на шею к Алисе, – здравствуй! Я не одна! Мы гуляем, мамуля! У нас праздник! Можно? Можно, можно, ребята, проходите, будьте как дома, у меня мировая мама, лучшая в мире, проходите, раздевайтесь, сейчас будем гулять-веселиться…

– А Николай где? – спросила Алиса Мартемьяновна, но спросила не строго, а улыбаясь: она рада была Марине, ее друзьям, их веселости, непринужденности, молодому безудержному глупому счастью.

– О, и Скоробогатов здесь?! – вместо ответа воскликнула Марина, подбежала к нему, бросилась на шею, обняла, поцеловала в губы. – Знакомьтесь, ребята, это Скоробогатов! Мировой мужик! А Николай, – без перехода продолжала Марина, – он в ночную сегодня. Дежурит. Скучно без него по ночам, мамуля. Вот мы и веселимся. Проходите, проходите, ребята!..

Скоробогатов, еще чувствуя на губах поцелуй Марины, от которого у него пошла кругом голова, запахнул поплотней халат и, входя из коридора в комнату, успел заметить позади веселой молодой компании двух интеллигентных, несколько обескураженных, слегка лысоватых мужичков в кожаных пальто, при «дипломатах», в туфлях на высоких модных каблуках (оба донжуана были невысокого роста). Хотел было Скоробогатов философски усмехнуться, да не получилось, губы только странно искривились… Да, для этих мужичков, подумал он, раскрутка еще только начинается…

II

Когда дверь за Скоробогатовым захлопнулась, жена его нервно облизнула губы и облегченно вздохнула. Что ни говори, а каждый раз ходишь по лезвию бритвы… Хотя, конечно, она твердо знала, что вариант тут беспроигрышный, но все-таки всегда нервничала. Мало ли как в жизни бывает…

Постояла немного у двери, прислушиваясь к шагам мужа. Слышно было, как он тяжело ступал по лестнице, шаркая ногами, потом хлопнула входная дверь в подъезде, все стихло. И только тут Нина усмехнулась…

Вернувшись в комнату, сказала:

– Ушел…

– Кто? – лениво, даже не открыв глаза, поинтересовался Магулин.

– Муж.

– Скоробогатов?! – Магулин распахнул глаза, приподнялся с постели.

– Ну да, Скоробогатов. Кто еще?.. – усмехнулась Нина. – Испугался?

– Нинка, когда-нибудь ты все-таки вляпаешься…

– Никогда. Ему только скажи: «Мама!» – и он бежит отсюда, как чумной… Боится матери, как черт ладана.

– А чего в ней такого страшного?

– Ничего. Просто не переваривают друг друга.

В первый раз эта идея пришла ей в голову, когда в доме действительно была мать. Мать пришла просто так, в гости, пока Скоробогатов ездил в очередную командировку. Открывая ему тогда дверь, Нина никак не ожидала, что это слово: «Мама!» – так подействует на Скоробогатова. Думала про себя: мало ли, может, и в самом деле помирятся, раз уж столкнулись вместе, хотя бы просто перекинутся парой ничего не значащих фраз, ведь сколько лет никакого контакта между ними, нехорошо… А Скоробогатов, услышав только: «Мама!» – морально не готовый к встрече с тещей, не простивший ей в душе ничего, самое главное – оскорбительного к себе отношения, вдруг побледнел, в глазах его заметались растерянность и испуг, и он просипел (голос внезапно сел): «Обязательно сегодня ей надо было прийти?» На что Нина ответила: «До смерти враждовать с ней собираешься?» Скоробогатов ответил: «Не я ее оскорбил. Она – меня». – «Ну и что? Ты же мужчина! Мог бы стать и выше всего этого…» – «Оскорбляют не для того, чтобы не замечали оскорблений… Я приеду, когда матери не будет!» И повернулся, и ушел, и вот тогда, впервые в жизни, ей пришла в голову странная идея… Теперь она не боялась Скоробогатова, когда в доме была не одна. Достаточно сказать мужу: «Мама!» – и он тут же исчезал. Растворялся. Больше того: если ей хотелось, она могла пригласить Магулина, не дожидаясь, когда Скоробогатов уедет в командировку. Достаточно позвонить ему на работу: «Извини, сегодня ко мне заглянет мама», и можно быть уверенной, что до завтрашнего дня Скоробогатов дома не появится…

– А что, если он возьмет однажды и позвонит твоей матери? – спросил Магулин. – Проверит, где она?

– Представь себе, этому олуху никогда не приходит такое в голову. Я сама удивляюсь…

– Не приходит до поры до времени.

– Да нет, он щепетильный. Ни за что не позвонит. Раз мать для него не существует, считает зазорным проверять, подслушивать…

– А ведь он ничего у тебя мужик!

– Пожил бы сам с таким – с тоски бы подох…

И тут Нина не лгала, потому что и в самом деле ей скучно было с мужем. Непонятно, когда и как, но случилось, что хуже, чем с ним, ни с кем ей не бывало. Мелочное его копанье в самом себе, хмурость, приступы меланхолии или, наоборот, неожиданного раздражения, демагогические призывы жить истинно, а не ложно, – Господи, как все это надоело! А ведь никак не ожидала, что Скоробогатов так быстро и бесповоротно превратится в бирюка, когда выходила за него замуж. Ей было двадцать один, ему – двадцать шесть, любовь захватила такая, что оба жили как будто с завязанными глазами. Потом пелена спала. Когда они уезжали от матери, что сказала Скоробогатову мать? Остановила его в дверях и сказала вот что: «Вы сейчас уезжаете, вы давно не разговариваете со мной, но вы должны знать, чту я о вас думаю. Вы эгоист

и бездельник, да, да, несмотря на ваш диплом, научную работу и должность! Вы обманываете всех – себя, жену, окружающих (пытались обмануть и меня), что вы что-то представляете из себя в жизни. Вы лжете! Вы бездельник, эгоист, трус и тряпка! Вон из моего дома!» Что тогда испытала Нина? Она почувствовала тайное удовлетворение вперемешку со злорадством, когда взглянула на бледное, опрокинутое лицо мужа. Уже тогда она внутренне отдалилась от него, хотя и воскликнула обиженно, заступаясь за Скоробогатова: «Мама, как ты можешь говорить такое?!» – «А ты вообще молчи! – сверкнула на нее глазами мать. – Ты кто такая, чтобы я слушала тебя?! Когда родишь – тогда и слово дам. А пока – цыц!» Нина сделала вид, что обиделась (хотя ей было наплевать на все), и вот так они уехали от матери в собственную квартиру…

У матери был пункт: дочь должна родить.

Скоробогатов тоже этого хотел. Он вообще не понимал, как так может быть, чтобы любимая (поначалу-то она любимая была) жена, женщина не хочет родить ребенка. А у Нины своя философия была. Где-то когда-то в одной умной книге она вычитала интересную фразу: «До двадцати лет нас воспитывают, после двадцати – мы воспитываем, а когда тогда жить?»

Когда жить-то тогда, а?!

И дала себе слово: от двадцати до тридцати – только жить. Никаких детей. Только жить. И заявила об этом всем. Матери. Мужу. Друзьям. И, кстати, жила так.

– Слушай-ка, – спросил Магулин, – есть у тебя книжник какой-нибудь знакомый?

– Нет, Бася, книжников нет. – Магулина звали Василий, Вася, но близкие знакомые называли его на иностранный, что ли, манер: Бася. – Впрочем, постой-ка… – Нина подсела к Магулину, игриво обняла его. – Тебе зачем, а? Сознавайся, Басик!

– Да списочек вот есть. Надо предложить старинную литературу. Но так, чтоб оптом, понимающему человеку. Библиотечному червю. Ты только послушай, какой перечень:

1. «Новый завет господа нашего Иисуса Христа». 1900.

2. «Уроки и примеры Христианской любви». 1902.

3. «Жития святых». 1902.

4. «Путь к спасению во исполнение заповедей Христовых». 1885.

5. «Беседы о семи спасительных таинствах». 1908.

6. «Добролюбие». 1913.

7. «Избранные молитвы и песнопения». 1909.

8. «Беседы, речи, проповеди». 1910.

9. «Указание пути в царствие небесное». 1900.

10. «Душеполезные поучения и послания». 1904.

11. «Собрание поучений на дни воскресения». 1895.

– Ох, вляпаешься ты когда-нибудь, Бася!

– Передачи носить будешь?

– Ни за что!

Магулин рассмеялся. Смеялся он всегда весело, от души, громко.

– Глупая! За книги не трогают, они – святыня. Разве я спекулянт? Просто одному человеку помогаю приобрести книги другого человека. Делаю доброе дело.

– И ничего не имеешь за это? Рассказывай!

Магулин снова рассмеялся и хитро так, ласково подмигнул Нине: уж это, мол, наше дело. Магулин был легкий, общительный, веселый человек. Абсолютно без комплексов. Вот это, пожалуй, больше всего нравилось женщинам – что он без комплексов. А разве скажешь, что у него легкая жизнь? В свои двадцать восемь лет Магулин был трижды женат, трижды расходился, но никогда не ругал жен, вспоминал о каждой спокойно, лишь изредка – с юмором. Никогда не жаловался на судьбу. Не хныкал. Не ругал других людей. Ходил всегда подтянутый, модно одетый, в изящных, чистых рубашках, туфли, не в пример Скоробогатову, чистил дважды на дню – утром и вечером. Руки мыл пахучим мылом «Флорена», после бритья расти-

рал тугие, глянцевые на вид щеки одеколоном той же фирмы – «Флорена». Магулин никогда никуда не опаздывал. Никого не подводил. Был человеком слова и дела. Нежно заботился о двух сыновьях (от двух разных жен). Платил алименты, делал подарки, бывал у них дома, играл с ними, а летом – каждое лето – обоих вместе возил на Черное море, на месяц-полтора (как получалось), при этом умудрялся делать так, что бывшие жены не обозлились ни против него, ни против друг друга, каждая жена продолжала боготворить Магулина. Казалось бы, за что его боготворить? А вот за то, что он оставался самим собой, спокойным, порядочным человеком. И еще странность – везде и всюду он успевал. Хотя – на вид – Магулин нигде ничем всерьез не занимался, дел у него было невпроворот. Уж это-то знала Нина. Во-первых, она вместе с ним работала в НИИ. Художник по образованию, Магулин числился в НИИ старшим инженером, а занимался художественно-графической редактурой. Ему нужно было много ездить – в типографию, в центр, в комитет, черт знает куда. Магулин ездил, с работой справлялся легко, играючи, при этом был предоставлен сам себе; где он бывал в течение дня и чем занимался, один Бог ведает, но занимался он, кроме работы, и многими другими делами. Это и было «во-вторых», что знала о нем Нина. Потому что через Магулина проходили тысячи вещей – золотые и серебряные кресты и крестики, иконы, оклады, цепочки, книги, картины, серьги, женские сапоги, каракулевые шубы… все это текло сквозь него, как сквозь сито, оставляя на решете золотые блёстки барыша – рубли, пятерки, десятки, сотни… Магулин не был каким-нибудь дешевым ханыгой, пьяницей, бабником без разбору, он находил в своих делах артистизм, чувствовал себя игроком, победителем, мужчиной… Что ни говори, было в нем нечто завораживающее, покоряющее женское сердце…

– Фу-у, надоело валяться! – Магулин озорно подпрыгнул на постели. – Сварила бы ты кофеек, а, Нинок? Настоящий, турецкий! С перчиком, а?!

– Ты хочешь? Басик, будет тебе кофе… Но вначале поцелуй… Вот так. И вот эту тоже… Какой ты чудный, Басик… – Она обвила его голову руками, поцеловала в макушку, погладила волосы, вдруг растормошила их, рассмеялась.

– Ты чего? – улыбнулся Магулин.

– Увидел бы нас Скоробогатов! Господи, его б, наверное, хватил удар!

– Не беспокойся, он тоже время зря не теряет…

– Кто? Скоробогатов? – Она рассмеялась еще веселее. – Не знаешь ты Скоробогатова! Да это рохля, слизняк, какая баба на него клюнет?!

– Есть и такие – любят пожалеть… Разный народец эти женщины.

– Не знаю… Нужно быть стопроцентной дурой, чтобы клюнуть на такого индюка!

– Да ведь ты-то вышла за него замуж?

– Молодая была. Глупая. И потом – влюблена была…

– В Скоробогатова?

– А что? Он мне тогда казался таким… важным, степенным. Опора. Диплом с отличием. Научные перспективы. Много чего, Басик, тогда казалось… А кончилось все вот этим – ты у меня в постели, а он Бог знает где.

Сидели вскоре на кухне, пили обжигающе-горячий терпкий кофе мелкими глотками из золоченых, с наперсток, кофейных чашек. Пили, блаженствовали, разговаривали.

– Скажи мне, я тебе долго еще буду нравиться?

– Долго.

– Ты просто прелесть, Басик!

– Ты мне будешь нравиться, пока тебя не бросит Скоробогатов.

– Как это?

– Не люблю брошенных женщин. В них есть что-то второсортное.

– А твои брошенные жены?

– Они уже не мои. Как женщины – не мои. Остальное меня не интересует.

– А ты думаешь, Скоробогатов бросит меня?

– А ты думаешь, у вас будет так вечно продолжаться?

– Года через три рожу ему ребенка.

– Три года – это три года. Кое у кого за три года и кости могут истлеть.

– Это ты кого имеешь в виду?

– Так, никого. К слову…

– Интересно, где он сейчас бродит?

– Говорю тебе, время зря не теряет… Наверняка.

– Нет, пьет где-нибудь. Он слабый, слабохарактерный. Пьет, сопли перед кем-нибудь распустил…

– Не знаешь ты мужиков. Верней, жизни не знаешь. Так-то, дорогая Ниночка.

Завязался у них роман как-то странно. У Нины была подруга по НИИ – Санька Неврозова, муж у Саньки, немалый интуристовский туз, отправлялся на несколько лет за границу. Естественно, с женой. Потому что за границу, если надолго, без жен не направляют. И вот прощались с Санькой. В конце концов, когда размахнулись в разгуле широко и вольно, все желающие оказались на квартире у Магулина. А что у Магулина – это не случайно: Санька Неврозова второй год была любовницей Магулина. Да что любовницей – она искренне любила Магулина, обожала его, сошла с ума на старости лет, как говорила сама, готова была служить ему и прислуживать, как собачонка. И вот не столько в отделе прощались с Санькой, сколько сама она прощалась с Магулиным. Потому что знала: уедет – он ждать не будет. Зачем? Сколько вокруг красивых женщин. К тому же, кто она Магулину? Да никто – просто так… И Санька Неврозова сходила с ума. Мужа своего она давно разлюбила до ненависти – это был строгий, хмурый, беспощадный к разгулу человек, «военная косточка», однако Саньке он прощал все, потому что не мог представить себе жизни без нее, – ох, она была «шикарная баба», как признавалась Нина Скоробогатова, – и вот эта «шикарная баба», ненавидя мужа, все-таки жила с ним, потому что держали деньги, тряпки, вещи, квартира, машина, золото, положение… А Магулину как жена она не нужна была, он был сыт женами по горло; что оставалось делать? Только униженно прислуживать ему, если искренне любишь и боишься потерять его. А теперь и этому прислуживанию приходил конец. Санька уезжала. И поэтому Санька неистовствовала. Она так откровенно горевала на квартире у Магулина, что страшно было смотреть на нее: глаза налились кровью, взгляд отдавал затравленностью, сквозь которую неожиданно прорывалось бешенство. Санька рвала на себе одежду, кричала, когда ее пытались успокаивать, или вдруг начинала рыдать, но всхлипы получались странными, словно Санька безумно хохотала… В одну из таких минут она позвонила Скоробогатову: приезжай немедленно, я хочу проститься с тобой, ты единственный нормальный человек, тут все мерзкие, не хочу никого видеть, ненавижу, Баську Магулина ненавижу больше всех! – Скоробогатов, дорогой, приезжай, умоляю! Но Скоробогатов не мог, он лежал в постели – температура тридцать девять, прости, не могу, еле живой… Санька не дослушала его, бросила трубку, прошептала: «Слизняк!.. Все они больные, когда не надо…» Увидела Нину, подошла к ней: «Господи, как ты можешь жить с ним! Все они ничтожества, ненавижу, ненавижу…» Нина пыталась успокоить ее – они были близкие подруги, – но Санька и на нее шипела: «И ты, все вы… я уеду, вы останетесь… Господи, тяжело мне, не хочу… Любви хочу, не хочу просто так жить, далеко, среди чужих, в тряпье, в золоте, ненавижу… Хочу здесь, с вами, с Магулиным, устала врать, ненавижу. Где правда, в чем?!»

Позже мало кто понимал, что происходит. Магнитофон продолжал реветь, и вот тогда, именно в те минуты, между Ниной и Магулиным зажглась какая-то звездочка… В полутьме, в бликах то затухающих, то разгорающихся свечей Магулин впервые толком разглядел, какая вообще из себя эта скромница Нина, – а она, Нина помнит это

очень хорошо, с охотой, с обжигающим душу бесстыдством (ведь стыдно должно быть перед Санькой хотя бы! – но нет, не было стыдно, наоборот – злобно, мстительно было, вот

странно-то!) пошла ему навстречу, они оба чувствовали, что их потянуло друг к другу, и слава Богу, что темнота, что Санька уезжает, это даже хорошо, пусть уезжает, надоела, истерики ее надоели, капризы, сумасбродство; танцевали кто с кем хотел, а руки Магулина невольно тянулись к Нине, прикосновения к ней обжигали, она улыбалась, ей хорошо было по-настоящему, она чувствовала себя царицей, повелительницей, вокруг мельтешили, танцевали, пели, кричали, ей было наплевать на всех, она – выше, она – над, пришла наконец ее минута, это с ней, а не с Санькой сейчас Магулин, он раб, она повелительница, потушили несколько свечей, осталась единственная, мерцающая, шепот, объятия, они с Магулиным в углу, она отдается поцелую, ей хорошо, не стыдно, к черту все…

И вот тут-то и раздался звонок в дверь.

Как громом всех оглушило.

Страшного, конечно, ничего. Но…

Звонок повторился. Настойчивей.

Кто-то догадался, подбежал к двери:

«Кто там?»

«Магулин здесь живет? Это Скоробогатов, меня Неврозова пригласила. И жена моя у вас…»

«Минуточку…»

Эта «минуточка» длилась минуты три-четыре. Сначала вырубили магнитофон, включили свет, вскрики, ахи. Ниночка, поправив прическу, неверными движениями подошла к двери, стала греметь цепочкой, щелкать замками, наконец дверь открылась. Скоробогатов стоял в коридоре бледный, белый, в бисеринках пота на лбу (у него был жар, под сорок). «Знаешь, я решил все же приехать… Саня так просила. Кажется, даже обиделась на меня… И я подумал: неудобно… Взял такси…»

«Проходи, чего ты…» – пригласила его в квартиру жена. И вот когда она делала приглашающий жест, Скоробогатов посмотрел на жену внимательней. Он пока еще ничего не понимал.

«Вот здесь застегни, – показал он на молнию. (Нина была в джинсах.) – Ты чего это, Нина?»

Тут из полутемной комнаты стал вываливать в прихожую разномастный и разношёрстный народ, все распаренные, краснолицые, одетые небрежно; заходи, Скоробогатов, будем прощаться, эх, Скоробогатов, прощаться так уж прощаться с Санькой!

Он шагнул в комнату, на столах бедлам, все кувырком, свечи горят, в проеме двери, ведущей во вторую комнату, Скоробогатов увидел на кровати Саньку Неврозову, увидел – отвел глаза в сторону… К тому времени Санька была не одна, рядом с ней пластом лежала какая-то девица, и тут Скоробогатова, когда отводил глаза в сторону, разом пронзило: во-он что здесь происходит… Он вспомнил, как долго ему не открывали, вспомнил жест Нины, не застегнутую на джинсах молнию, всеобщее возбуждение, распаренные лица – и ему стало все ясно. Вон тут чем занимались, и, значит, Нина тоже. Скоробогатов молча стоял, напротив него за столом сидела Нина, с краю сидел Магулин, на постели продолжала валяться Санька Неврозова, все, кажется, освоились со Скоробогатовым, привыкли, зажженных свечей вновь осталось мало, пот бежал по лицу Скоробогатова ручьями, его душил жар, колени дрожали, а сердце стучало тяжело, медленно… Он громко сказал Нине (правда, слова его прозвучали не очень убедительно при общем шуме):

«Поехали домой!»

Она продолжала болтать с Магулиным, как ни в чем не бывало. (Позже она будет много раз стыдить Скоробогатова: «Как ты мог подумать такое?! Да Саня – моя лучшая подруга, у них с Магулиным любовь! Разве я могу позволить себе что-нибудь с ним? Это было бы предательством Сани! Нет, я на такие гадости не способна! Как только тебе не стыдно!..»)

Чувствуя, как в нем закипает ярость, он повторил:

«Нина, поехали домой!»

Она повернула к нему голову и спокойно ответила:

«Не поеду.»

«Как это?!»

«Так. Не поеду – и все.»

«Тогда я поеду один.»

«Пожалуйста. Тебя, кстати, никто не выгоняет. Могу я хоть раз в жизни проводить по-человечески подругу за границу?»

«Она спит.»

«Ну и что?»

«Если она спит, чего тебе здесь делать? Да и всем пора расходиться…»

«Знаешь что, Скоробогатов? На Урале своем командуй, а здесь ты в гостях… Приехал к шапочному разбору, когда тебя никто не ждал, – так сиди и не рыпайся…»

«Ты послушай, как ты говоришь…»

«Нормально говорю.»

«Тогда я поехал!»

«Закажи такси. Поздно.»

«Спасибо. Значит, не едешь?»

«Сколько можно повторять.»

Скоробогатов, будто оплёванный, вышел в прихожую (а что за разговор тут происходил, никому и дела не было, – каждый занимался чем хотел), открыл замок, хлопнул дверью.

Через несколько дней Саня Неврозова уехала за границу, и ее место в любви с Магулиным заняла Нина. Вот такой завязался тогда роман…

… – Кофе еще будешь? – Нина смотрела на Магулина чистыми, ясными глазами.

– Если только свежий.

– Ах, Басик, – погладила она его по руке, – для тебя – все что угодно. А уж кофе – это я мигом…

Она заколдовала у плиты, а Магулин, удобно развалившись в плетеном кресле, которое сам когда-то подарил Нине на день 8 Марта, наблюдал за спокойными, полными изящества и достоинства движениями ее рук; она чувствовала его взгляд, полуоглядывалась, как бы выглядывала из-за плеча, улыбалась ему лукаво.

– Что, нравлюсь?

– Нравишься, – откровенно и просто признался Магулин.

– Может, ты меня и любишь?

– Может, и люблю, – ответил он.

– Ой ли, Басик?!

– Никогда не спрашивай у мужчины об этом, пока он сам не захочет сказать. Запомни первую заповедь мудрой женщины.

Нина зажгла газ, поставила на плиту турку с водой, обернулась к Магулину.

– А вторая какая заповедь мудрой женщины?

– Вторая? Женщина должна казаться немного глупой. Глупой – значит женственной. Потому что женщина – это прежде всего женственность.

– И третья есть заповедь?

– Есть.

– А сколько их всего?

– Сто.

– Да ты что, дурачок, в самом деле?! – Нина рассмеялась, закружилась, сама не зная отчего, на месте, опустилась на колени перед Магулиным. – Ну, скажи хотя бы третью.

– Третья заповедь мудрой женщины – делать вид, что веришь мужчине.

– А четвертая?

– Ты же хотела услышать только три.

– Нет, я хочу услышать и четвертую. Я хочу поверить мужчине, будто он и в самом деле знает сто заповедей мудрой женщины.

– Прекрасно. Четвертая заповедь – женщина должна больше слушать, но меньше говорить. У тебя кипит вода…

– Ой! – Нина бросилась к плите, уменьшила огонь, подсыпала в кофе самую долечку перца…

Вскоре опять сидели, блаженствовали, пили кофе.

– Скажи, откуда ты знаешь эти заповеди?

– Сам сочинил.

– Да ты что?! Не может быть! – Она смотрела на него хоть и недоверчиво, но с восхищением.

– Впрочем, нет. Вру. Каюсь. – Он поднял руки вверх.

– Вот так бы сразу, Бася! – рассмеялась Нина. – А то: «я», «я»…

– Их сочинил один мудрый японец. Кажется, он жил на рубеже XIII–XIV веков.

– Как его фамилия?

– Фамилия? Бась-я Маг-уль-ин.

– Кто? Бась-я Маг… Ой, да ты что! – Нина начала хохотать.

Господи, как она любила его! Как ей было хорошо с Магулиным, просто так хорошо, неизвестно отчего и почему, какой он был остроумный, с ясным взглядом на вещи, никакого занудства, никаких комплексов… Если б он всегда был рядом, если б всегда чувствовать, любить, жить им!..

– Знаешь, – вдруг мягко-заискивающе проговорила Нина, – а что если мне сейчас родить? А не через три года?

– В самом деле?

– Ну да.

– А почему нет? Рожай. Ведь Скоробогатов, насколько я знаю, только того и ждет.

– Ты не понял, – сказала Нина. – Я хочу родить ребенка. Но не от него.

– Интересно! – Магулин усмехнулся.

– Что, если, Васечка, я рожу от тебя?

– Тебя как понять? – словно и не удивившись, спросил Магулин. – Ты у меня спрашиваешь совета или говоришь о деле решённом?

– Я спрашиваю, как ты относишься к этому?

– Знаешь, лично для тебя найдется еще и сто первая заповедь мудрой женщины.

– Какая?

– Никогда не рожай, если мужчина не хочет этого. Все беды на земле – от этого.

– Значит, ты не хочешь?

– Нет.

– Почему?

– Почему я должен хотеть того, чего, во-первых, у меня вдосталь, а во-вторых, я просто этого не хочу.

– Значит, ты со мной просто так?

– А ты?

В это время – странное дело – в дверь смело, напористо позвонили. Нина невольно покосилась на настенные часы – половина двенадцатого ночи.

– Странно… Кто бы это мог быть?.. – пробормотала она.

– Скоробогатов? – Магулин был спокоен: он гость, сидит на кухне, пьет кофе, ведет обстоятельные разговоры.

– Исключено.

Звонок повторился. Еще более настойчивый, энергичный.

Нина запахнула халат, сказала:

– Если что, ты пришел недавно. Я тебя сама пригласила – обсудить кой-какие дела по работе.

Магулин спокойно кивнул. Нина пошла открывать.

Зазвонили в третий раз, еще решительней.

– Кто? – хрипловатым голосом спросила Нина.

– Квартира Скоробогатовых?

– Да.

– Вам телеграмма.

Нина с облегчением открыла дверь, расписалась на квитанции.

– Если б не срочная, не стал бы беспокоить так поздно. Извините.

– Спасибо.

«СРОЧНО ПРИЛЕТАЙ С ПАПОЙ ПЛОХО МАМА»

– О Господи… – прошептала Нина.

Вернулась на кухню. Магулин смотрел на нее вопросительно.

– Телеграмма Скоробогатову. С Урала. Плохо с его отцом.

– Гм. Где же теперь искать Скоробогатова?

– А черт его знает, где носит этого идиота…

III

В этот вечер Наталья Михайловна поужинала как всегда – ровно в семь часов. С давних пор у нее был заведен твердый порядок – завтракать, обедать и ужинать точно в определенное время. Ни дочь, ни зять никогда не могли привыкнуть к ее пунктуальности, Наталья Михайловна поначалу делала замечания, а потом плюнула, надоело. Дело не в пунктуальности самой по себе, а в том, что организм за долгие годы привык к определенному режиму дня, и Наталья Михайловна без всякого удивления замечала, что обедать, например, ей хочется ровно в два часа, ни раньше, ни позже, а если она просрочит, то потом нет никакого аппетита, пища кажется пресной, безвкусной. То же было с завтраками, то же – с ужинами. И шло это ой из какого далека, из той глубины времени, когда жив был Федор Алексеевич, когда он не просто жил – работал, горел, сгорал…

На ужин Наталья Михайловна отварила себе картошки, натолкла из нее пюре, залила простым постным маслом. В холодильнике стояла тушеная рыба (треска, которую посчастливилось достать на днях; продавщица Вера, знакомая Натальи Михайловны с шестидесятых годов, всегда оставляла ей что-нибудь по старой памяти), но рыбы сегодня не хотелось. Вчера рыба, сегодня, завтра – это уж слишком, хотя в общем она рыбу любила больше, чем мясо. Одно время она мясо вообще не ела – из убеждений, но врачи посоветовали: немного отварного – просто необходимо организму в вашем возрасте, а иначе… И Наталье Михайловне пришлось уступить врачам, но не поступиться своими убеждениями… Она с охотой поела картошки, заварила свежего чая, попила вприкуску с карамелью, что очень любила и что шло, естественно, тоже с незапамятных времен, когда каждая конфетка была лакомством (так и осталось до нынешней поры); потом помыла посуду и направилась в большую комнату – смотреть телевизор.

Шел Наталье Михайловне семьдесят второй год…

Все было как всегда; Наталья Михайловна щелкнула тумблером, подождала, когда нагреется экран, отрегулировала яркость, громкость; передавали, как обычно в это время, последние новости. Наталью Михайловну необычайно интересовало, что происходит в мире, потому что она многое повидала, многое пережила, помнила революцию, гражданскую войну, голод, разруху, помнила тридцатые годы и Великую Отечественную, пятидесятые и шестидесятые, и у нее щемило в груди, когда она слушала, что происходит на земном шаре, потому что, казалось ей, все висит на волоске, достаточно одной какой-нибудь случайности – и все рухнет в небытие. Все – и прошлое, и настоящее, добытое для жизни с таким трудом, кровью и потом…

– …события в Ливане комментирует наш специальный корреспондент Фарид Сейфуль-Мулюков…

Наталья Михайловна сделала лишь один шаг к дивану, с которого обычно смотрела телевизионные передачи, как вдруг ноги ее подкосились – и она, не успев ничего понять, рухнула на пол…

Сколько она пролежала и что с ней произошло, Наталья Михайловна не знала. Когда она открыла глаза, комната показалась ей странной, перекошенной (впрочем, она и комнату свою узнала не сразу); лежала Наталья Михайловна навзничь, с головой, откинутой набок. Увидела подоконник, цветы, перекосившиеся рамы, торшер. Слегка повернула голову. Люстра. Потолок. Люстра вот-вот, казалось, может сорваться и упасть – такой она грозной и тяжелой ощущалась снизу. Наталья Михайловна попыталась приподняться, не тут-то было. Она пошевелила пальцами – пальцы слушались. Попробовала сдвинуть ноги – ничего не получилось. «Вон что, ноги…» – догадалась Наталья Михайловна. Голова у нее стала работать ясней, комната казалась обычной, без перекошенных стен, только чужой. Наталья Михайловна расслышала долгий – долгий гудок. «Телевизор…» – догадалась она. По гудку и по тому, что в комнате стоял полумрак, Наталья Михайловна поняла, что вечерние передачи давно закончились, эфир отключен, и длинный нудный гудок давно извещал хозяев, что телевизор пора выключать…

«Выходит, несколько часов лежу…» – подумала Наталья Михайловна. Она попыталась сесть, опираясь на руки, руки слушались, но были такие слабые, что Наталью Михайловну вновь отбросило назад, и она больно стукнулась затылком об пол. «Убьешься еще так…» Она решила полежать, отдохнуть, подумать. «Что со мной? Сердце? Но почему ноги?..» Сердечные приступы с ней случались, но ноги вроде не отказывали никогда, а тут она чувствовала – именно ноги подводят. Сможет она все-таки сесть или нет? Сделала новую попытку и поняла, что сесть сможет, руки помогут, но удержаться в таком положении не удастся – что-то упорно отказывает в организме; и хорошо, что поняла это, а то бы опять села да грохнулась назад, ударилась бы головой. «А повернуться? Смогу?..» Наталья Михайловна еще не сознавала, отчего это так важно для нее – двигаться, но чувствовала – только в движении ее спасение. Поворачиваться пришлось туловищем, как бы переваливаться, перекатываться, потому что ногу, ни левую, ни правую, закинуть было невозможно – даже странным это казалось, – а когда Наталья Михайловна перевернулась на живот и чуть подняла голову, то прежде всего увидела в коридоре на низенькой полочке телефон, и вот тут-то ее пронзила догадка: телефон! Только он один может спасти ее…

И, отдохнув немного, Наталья Михайловна стала по миллиметру, по сантиметру продвигаться вперед. Странно, никогда в жизни, казалось, не тратила она столько усилий на обыкновенные движения, а между тем продвигалась действительно по сантиметру. Даже, может быть, иной раз вовсе не продвигалась, потому что тело, готовое к передвижению, вдруг опадало, превращалось в грузную непослушную оболочку, внутри которой все замирало, как бы затаённо и обманно соглашалось, что ничего, все правильно, так и должно быть; самый больший страх был страх несогласия с телом, страх бунта против него; тело свое нужно было умасливать, усмирять, ни в коем случае не злить и не протестовать против него. Вот когда, как никогда прежде, почувствовала Наталья Михайловна тончайшую нить, связывающую душу с телом,

нить, которая раньше представлялась не больше чем условностью, а вон как она натянулась сейчас… Как она хрупка сейчас, тонка, как жалка… Наталья Михайловна прикрывала глаза и при этом явственней ощущала, как душа ее, словно отлетевшая от нее, зависшая над ней в сосредоточенном раздумье, снова нехотя, обузданно возвращалась на место, сливаясь с плотью, наполняя ее сумеречно мерцающей, трепетной жизнью. Несколько раз Наталья Михайловна теряла ощущение вот этого возвращения жизни в тело, воссоединения тела с душой, и куда-то проваливалась, а когда приходила в себя, не могла понять, долго ли отсутствовала в пространстве; лежала с широко открытыми глазами, не в силах собрать в себя все, чем была прежде, ощутить себя собой, знакомой себе, родной. Это ощущение собственной чуждости в окружающем мире было одним из самых тягостных, едва переносимых ощущений, и Наталья Михайловна несказанно радовалась, когда постепенно вновь обретала силу двигаться, ибо понимала: в какие бы дали ни уносилось сознание, спасение для нее – в движении. Двигаться вперед, по сантиметру, ползти, только не лежать – вот главное…

Иногда, когда душа все же расставалась с телом, нисходили на Наталью Михайловну видения; в видениях этих она неожиданно для себя сознавала, что никакой смерти она не боится, слышала в себе согласие с ней: смерть – ну что ж, смерть так смерть… И не против смерти она воевала, не со смертью; если она двигалась – то потому, что надо было понять в жизни что-то самое главное, самое важное, а вот понимания этого пока не было, оттого и двигаться надо, вперед, по сантиметру… Страшно не смерти, страшно не понять, *что* была жизнь… *Что* есть жизнь до смерти. Вот что главное.

Сколько лет не было рядом мужа Федора Алексеевича, а, странное дело, он никогда не умирал; он как будто взял эту жизнь, вздыбил, укротил – и бросил… И странность тут в том еще, что – бросил… Не оставил, не благословил, не отринул, а – бросил. Когда он только-только приехал из деревни, она помнит – под скулами у него ходили ходуном желваки. Он знал, чего хотел: он хотел засучить рукава и руками, одними руками переделать мир. Что надо? Учиться? Пожалуйста. Он лбом пробил для себя дорогу в образование: если ему думалось плохо, что-то не получалось – он лбом о парту бился. Натурально. Он знал, чего хотел: ничтожный мир должно возвысить! Он не в этих словах знал правду, но понятие жгло именно это: бери, делай замес, мни – и вот он, твой новый мир. Где честные, чистые люди. Где все живут друг для друга. Она тогда, в конце двадцатых, только в глаза ему заглянула и поняла: всё, она – рядом, навеки. Ее потрясла его страсть – жить для других. Она хотела этой же страсти. Жить для других – вот что знал Федор Алексеевич. Техник-механик, он когда только пришел на машиностроительный завод, уже было ясно – он будет не бригадир, не мастер, не начальник смены, не начальник цеха, не главный инженер – директор. Потому что он знал: жизнь для других – это жизнь человека. И потому, когда сгорел дотла – не ушел, не истаял. И ей, Наталье Михайловне, не страшно, что его нет. Она не ощущает, что его нет. Это вот вокруг – нет многих. А он есть. Она тогда была в красной косынке, повязанной на лбу так, чтоб солнце не слепило глаза, но когда увидела его – ослепла, как от солнца. И поняла: она только его. Даже если не жена. Просто его. Женщине нужно раствориться в мужской страсти – расчищать захламленную жизнь. Женщина должна ослепнуть ради этой страсти мужчины. Он бросил мир – Наталья Михайловна осталась. И мир остался, потому что Федор Алексеевич его воздвиг. Воздвиг до неба, потому что оправдание только в небе: мужчина строит ввысь, а женщина идет рядом. Наталья Михайловна ничего не знала в жизни, кроме мужа, зато она узнала всё: мир – это мужчина. Ты рожаешь, потому что мужчине нужны помощники; он воздвигнет мир, а сам иссякнет, и любимая должна дать продолжение, чтоб было кому поддержать и упрочить мир… Если честно, у Натальи Михайловны четыре класса образования… Ну и что? Она не погрязла ни в тряпках, ни в барахле, она стояла в очереди за картошкой и морковью, и когда Федора Алексеевича, как в броневике, привозили на лимузине с машиностроительного завода – обедать, она подавала на белую скатерть самый вкусный на свете борщ, и Федор Алексеевич съедал его до последней ложки, ничего не видя, и

Наталья Михайловна была счастлива, даже сейчас болью изнывает сердце, потому что, если б ему не понравилось, он бы заметил, нахмурился, а он нет, съедал и кричал главному инженеру, который со страхом и уважением восседал напротив: «Петрович! Если к среде – запомни, к среде! – не будет раствора, я тебя сам вместо бетона замурую в фундамент!» И что Петрович? Петрович через пять лет надел на лацкан пиджака высший по тем временам орден, а Федор Алексеевич валялся в больнице – нервное и физическое истощение. Разве она могла не быть рядом с такой глыбой? Не в масштабе дело – в характере. Мужик, говорил он, должен мять жизнь, как он мнет бабу, – с обреченной страстью; без этого рухнет жизнь… Как она могла не видеть бога в Федоре Алексеевиче?

Наталья Михайловна вновь приходила в себя… Перекошенные стены, пол… распластанное непослушное тело… И как только возвращалось сознание, так возрождалось сомнение… *что* есть жизнь до смерти? И *что* – вместе с ней и после нее? Открывала глаза… Федор Алексеевич исчезал. Перед глазами появлялся телефон. В проеме двери в коридоре на низкой полочке. Вот что. Надо двигаться. Это главное. Только вперед, по сантиметру, но двигаться; спасение – в движении…

Наталья Михайловна собиралась с силами и в самом деле начинала двигаться. Когда она хоть краешком сознания заглядывала в ту глыбь, где мерцал образ Федора Алексеевича, в ней исконно и истинно отвердевала воля к жизни; она подтягивала себя потихоньку на локтях, перетаскивая грузное тело сантиметр за сантиметром вперед… Останавливалась, отдыхала и снова работала, а потом в изнеможении лежала, опять и опять чувствуя, как душа вот-вот готова покинуть ее, насовсем воспарить над телом. В такие минуты Наталья Михайловна неожиданно чувствовала себя по-детски хитрой, смекалистой: затаённо замирала, ожидая, когда грузное непослушное тело вновь воссоединится с воспарившей над плотью душой…

А если ее вновь настигали видения, она отдавалась им легко и свободно, оставляла свое бренное тело распластанным на полу, улетая вместе с душой в закоулки и изгибы прошлой жизни. Когда-то Наталья Михайловна не понимала, что в огне любви к Федору Алексеевичу сгорит их дочь, а когда поняла – было поздно. Нина выросла незнакомым, непонятным существом, как будто прилетела с другой планеты, где мерки жизни были совершенно иные. Наталья Михайловна наивно полагала, что достаточно просто жить рядом с Федором Алексеевичем – и истина восторжествует, а Нина, оказывается, не только толком не помнила отца, но и считала его ненормальным, как ненормальным считала и время, взрастившее отца с матерью. Наталью Михайловну она вообще находила выжившей из ума деспотичной дурой; однажды так и сказала: «Знаешь что, мама, в проповеди своего времени ты похожа на деспотичную дуру!» – «Как это?» – не поняла Наталья Михайловна. «А так это. Дай тебе волю, ты бы всех нас заставила кирпичи таскать. Просто так. Есть машины, подъемные краны, техника – а ты бы все равно: таскать, только таскать! Вот так…» Наталья Михайловна тогда обиделась, хотя, честно говоря, обижаться она не умела, не понимала, что это такое. Просто сделала вид, что обиделась. Потому что не поняла Нину. И правильно, заставила бы таскать. Просто так таскать. Чтоб почувствовали: есть руки, мышцы, тело, кровь, работа. Смысл в этом – в работе. День за днем человек забывает, что он создан не для зарплаты – для работы. Человек потерял себя. Потому что не знает соли жизни. Сгори в работе – обретешь себя. Разве это такая сложная мысль? Почему она кажется Нине непроходимо глупой и опрощённой, эта мысль? Потому что Нина с другой планеты. За всю жизнь она никогда ничего не сделала своими руками. Как же она может понять мать? А тем более – отца? А тем более – все их время? «Да понимаю я, понимаю, – отмахивалась Нина, при этом морщилась, как от зубной боли. – Это ты не понимаешь – время изменилось. Понимаешь: вре-мя! Время!» И всегда все валила на это – «время изменилось». А чем оно может измениться в своей сущности? И в чем может измениться сущность человека? Если ты не будешь таскать кирпичи – все опустеет: и время, и человек. А как живет Нина? Так, как будто не было никогда никакого Федора Алексеевича, не было отца, не было пота, войны,

смерти; знает – было, а душой не чувствует. Не берет в себя. «Не могу я тащить прошлое в себе! Не могу! – кричала она. – Я сейчас живу! Сейчас! Мне плохо и без твоего прошлого! Тошнит от твоих лозунгов. Ты хоть понимаешь, что я молодая, я жить хочу, жи-и-ить?!»

Наталья Михайловна приходила в себя, открывала глаза… Мрак в комнате не был таким густым, как прежде, и только поэтому она понимала, что ночь постепенно переливается в утро… Все на свете переливается одно в другое. Жизнь переливается в смерть. Смерть переливается в жизнь. Ничего удивительного, ничего страшного. Наталья Михайловна вновь приподнялась на локтях и хоть немного, но еще подтянулась вперед. Заветная полочка с телефоном была все ближе и ближе. Странное дело, Наталья Михайловна несколько свыклась со своим положением; то, что она лежала в полубеспамятстве на полу, проваливаясь в пустоту или вновь возвращаясь душой в бренное тело, вовсе не мешало ей жить – чувствовать, понимать, думать. Она всегда раньше считала, что человек может вполне оставаться самим собой при любых обстоятельствах. и вот теперь это подтвердилось. Она не чувствовала растерянности, страха; что она должна была чувствовать еще? Она ощущала себя человеком, даже под пятой судьбы ощущала это. Потому что ей нечего было бояться. Было, правда, бояться за что. За этот мир, за жизнь, которые когда-то выстроил Федор Алексеевич. Федор Алексеевич ушел, а мир остался. Вот это главное. И она уйдет. А мир останется. Но тут вопрос – надолго ли останется? Ведь после нее – всего лишь Нина. А рядом с ней – Скоробогатов. И детей у них нет. Нет у Натальи Михайловны внуков. Был бы хоть один-разъединственный внук, Наталья Михайловна исправила бы ошибку жизни. Нина сгорела в костре ее любви к Федору Алексеевичу, да, это ее вина, но внука бы она воспитала. Она представила его сейчас живым, реальным, белокурый, пыхтит, строит из кубиков дом… Наталья Михайловна улыбнулась. Как бы они стали жить с ним! Главное, улыбнулась она, она бы день и ночь была рядом с Федюшкой (так ей хотелось назвать внука); может быть, даже уехала бы с ним в деревню. Жили бы просто. Она бы день-деньской работала на дворе, в огороде, ходила в лес, Федюшка помогал бы во всем. Он должен своими руками строить жизнь. Колоть дрова. Носить воду. Чинить изгородь. Полоть в огороде. Копать картошку. Поливать капусту. Строить самокат. Любить лошадь. Скакать верхом. Варить уху. Ставить жерлицы. Он должен почувствовать, что без его рук нет жизни. Жизни не хватает именно его рук. «Ты бы всех заставила таскать кирпичи», – усмехалась дочь. Да, так – таскать кирпичи. Если ты ни разу не поднял кирпич – кто ты такой на земле? Федюшка – тот бы понял: он не потребитель. Он сам продвигает время вперед. И потащил бы кирпичи запросто. Потому что – если б Федор Алексеевич не выстроил в тридцатые машиностроительный гигант – какую бы сейчас дубленку таскала Нина? Он таскал кирпичи – а дочь таскает дубленку. Это разное таскание. А дочь этого не понимает. И надо же: Федору Алексеевичу было весело, легко жить, а Нине – трудно, нудно. Федюшка представлялся Наталье Михайловне оплотом ее мыслей. Мысли Натальи Михайловны никому не были нужны, она была никто в жизни, но благодаря Федору Алексеевичу она чувствовала себя центром мира; знала – мысли у нее простые, но точные. Если не Федюшка – то кто продвинет жизнь дальше? Разве Нина? Разве Скоробогатов? Тьфу на них!

Наталья Михайловна всерьез разозлилась и поползла вперед даже энергичней, чем раньше. Не чувствовала ни ног, ни поясницы, но как думала! Как ясно, четко она думала! Ползла вперед и все понимала в жизни, и, если б дали ей сейчас Федюшку, она бы не осрамилась, она знала, что делать с ним. Или она не смогла бы сделать свою, простую работу? Или она не смогла бы сделать, чтоб Федюшка тоже понял цену таскания кирпичей?

Правильно она тогда – перед разъездом – сказала Скоробогатову:

«Вы эгоист и бездельник! Да, да! Несмотря на ваш диплом, научную работу, должность! Вы обманываете всех – себя, жену, окружающих, будто что-то представляете из себя в жизни! Вы лжете! Вы бездельник, эгоист, трус и тряпка! Вон из моего дома!»

Господи, ведь точно сказала! И никто не понимает, насколько эта выжившая из ума бабка, деспотичная дура, заглянула в корень жизни. Кто услышит ее? Кто поймет?

Она знала, всегда отдавала себе в этом отчет, что Скоробогатов тоже нуждается в понимании. Но в каком понимании? Чтобы его, видите ли, пожалели. Мужика пожалели! Смешно, трагично, что взрослый мужик вымаливает сострадание! Ладно, Наталья Михайловна, может, и пожалела бы, но ведь претензии-то их к чему сводятся? К тому, что им якобы недодали! Как будто весь мир до них только для того и существовал, чтоб им жить теперь припеваючи да играючи.

«Вы только потребляете! Ведь палец о палец не ударяете! Не делаете и – самое страшное – не хотите ничего делать! Смотреть тошно!» – вот что она говорила дочери. А в ответ?

«Надоела, вот здесь сидит, – Нина показывала на шею, – твоя политграмота!»

Правда – это для них политграмота. Потребители! Как случилось, почему, когда, не поймешь, но ведь случилось, что ее дочь за всю жизнь ни разу ничего не создала, нигде ни в чем нет ее труда, так чтобы после нее был конкретный осязаемый результат: хлеб, деталь, мясо, шерсть, дерево, вспаханное поле; нельзя же в самом деле считать за труд просиживание рейтуз в НИИ! Просиживание в буквальном смысле, потому что Наталья Михайловна не раз видела, как Нина штопала исподнее (казалось бы – только купила, опять дыры). Зато каковы запросы! Джинсы, французские сапоги, турецкие халаты, ковры, машины, дачи, золото… Да откуда? Почему? За что, в конце концов?! Откуда такая психология: ничего не создаю – но дай мне все! А?! Ведь требуют от жизни всерьез! Как будто так и должно быть. Ох, потребители! Федор Алексеевич летучки в ватниках проводил, ездил в лимузине, не замечая его, бросил к подножию машиностроительного завода собственную жизнь – а они что?

Они – потребляют! Может, он слишком щедро одарил жизнь, так что нынче такие, как дочь и зять, могут только потреблять, ничего не отдавая взамен? Ведь абсолютно ничего! С Ниной это ясно как божий день, со Скоробогатовым – сложней, но только внешне; Наталья Михайловна раскусила его, потому что ни учеба, ни работа, ни ученая степень, ни должность – ничто не может скрыть в человеке, что внутри у него – пустота. Он оттого и мечется, оттого и жалкий, оттого и сострадания ищет, что отлынивает от своего природного предназначения.

«Кирпичи таскать?» – усмехнулась бы здесь Нина.

Да, кирпичи таскать! И нечего зубы скалить, несчастная потребительница! На тебе чья дубленка? Чьи джинсы на тебе, стерва? Чью ложку ко рту несешь? Как хлеб пахнет – знаешь? Или хотя бы что такое навоз – слышала?! «Кирпичи таскать…» Черт бы вас всех взял, потребителей!..

Наталья Михайловна заскрежетала зубами, стон вырвался из груди, вытянула вперед руки, сложила на них седую голову, решила полежать, отдохнуть. Из окна в комнату лился рассвет, слабый пока, густо-сиреневый, но все-таки… Ночь проходила в провалах сознания и памяти, в видениях и борьбе, иного выхода не было, тут тысячи жизней в себе проживешь, пока пробираешься к телефону, а внутри, несмотря ни на что, гнев полощет.

«Наталья Михайловна, дорогая, – сказал как-то Скоробогатов, в самом начале еще совместной жизни, – надо жить в мире, зачем нам ссориться, что делить, за что бороться?..»

Тогда она не ответила зятю, не сказала правды – только присматривалась к Скоробогатову, а сейчас бы выложила напрямую:

«В мире с вами жить, с потребителями? Не ссориться?! Да тогда от жизни одна навозная куча останется! Какой же толк от вас, кроме навоза? Не создавая – едите, не создавая – одеваетесь, не создавая – роскошничаете, не создавая – пьете, не создавая – дачи снимаете; и чтоб все вам самое лучшее, самое мягкое, самое модное, самое престижное, да при этом еще и сострадание вымаливают, смотрят жалобными глазами, в демагогию пускаются, чужих жен и мужей любят… Кто же вы?! Откуда?! И я должна с вами в мире жить? Я должна потакать ничтожествам, холуям и потребителям?

Накось, выкуси, зятюшка Скоробогатов!»

«Ты посмотри на себя, – сказала бы дочь. – Ведь дунуть – рассыплешься, а все шипишь, как змея…»

«Змея я для них… Для родной дочери змея. И для зятя змея. И буду змеей! Потому что я им правду говорю. Им правду некому сказать: они все одинаковые вокруг, ослепли, оглохли, только жрать им давай, дубленок, машин, – а что создали-то? А создает-то все еще моя двоюродная сестра Матрена во Владимирской области, в Петушках, с зарей встает и с зарей ложится, хлеб сеет, руки иссохшие, подбородок вваливается, глаза линялые, добрые, вопрошающие, в Москве-то всего два раза была, надивиться не могла – надо же, дома какие высоченные, как их только вздыбили, Федора Алексеевича вспомнила, говорит: эх, Федор-батюшка, Федор-батюшка, на что оставил нас одних, сиротеюшек, тяжко без тебя, ой тяжко… Так как же им правду не говорить?! Федор Алексеевич бился за жизнь, как лев, а она, Наталья Михайловна, должна молчать теперь, когда толстозадые дочери да толстомордые зятья рвут жизнь на клочья, как даровой лакомый кусок?!

Не бывать такому!

Наталья Михайловна почувствовала, как по ногам, которые она вроде перестала чуять, побежали пупырышки озноба, словно их стали колоть тысячи иголок. Пошевелила пальцами – шевелятся. Едва-едва, но шевелятся! Попробовала перевернуться с живота на спину – перевернулась. Приподнялась, уперлась сзади руками – получилось. Ну надо же! Сама не поверила, сколько часов прошло – вечер, ночь, утро, – тела не чувствовала, а тут на тебе – опять сидеть можешь. Ноги, правда, так начало колоть, что застонала невольно, стиснула зубы, а все равно то колет, то жаром обнимет, будто на плиту раскаленную босая встала; сидела, стонала, качала головой, терпела. Глаза закрыла, стараясь убаюкать боль. А боль все разрасталась, подымалась снизу вверх, все выше и заостренней, словно не просто иголками тебя кололи, а глубоко протыкали плоть, а там иголку удерживали – каково, мол, оно, потерпи теперь, змея, потерпи, подколодная… Наталья Михайловна терпела изо всех сил, но вот слез удержать не могла, они сами катились по щекам – от боли, хотя редко когда в своей жизни плакала Наталья Михайловна в открытую…

Не одолев боль, она снова легла на пол, только не на живот, как прежде, а на спину, – боль шла по ногам густая и плотная, сознание кричало: ничего нет, одни ноги, одна боль… Наталья Михайловна впала в какое-то новое для себя забытье, стонала, потом принялась невольно двигать ногами так, будто едет сейчас на велосипеде, и чем сильней крутила педали, тем меньше боль, тем легче сознание…

«Ты же бесчувственная, – говорила дочь. – Ходячий лозунг. Плакат в платье…»

Она помнила: какое-то время зять защищал ее. Проявлял деликатность. Ничего не создают, погрязают во лжи и лицемерии, а внешне вон как охота быть благородными и чуткими. Это подумать только – идут на жизнь. Обворовывают, обирают ее, потребители. Толпой идут, взявшись за руки. А таких, как Наталья Михайловна, на свалку: «Будьте так любезны, отойдите в сторонку, не мешайте жизнь разбазаривать!..» Не-ет, она так просто не дастся. Плохо они ее знают. Когда Федор Алексеевич в пятьдесят девятом умер, она не проронила ни слезинки. Ни одной! А могла бы год плакать – слез хватило бы. А вот не плакала…

Сморщившись от боли, Наталья Михайловна оперлась сзади на руки и вновь села. Теперь сидеть было гораздо легче. Посидела, отдышалась, привыкая к новому состоянию. А новизна была в том, что она могла двигать ногами, сгибать их. Вот только не верилось, правда ли это. Совсем недавно ползала по полу, как червь. И вот сидит. А вдруг и встать может? Наталья Михайловна подогнула под себя ноги, чуть наклонилась, оттолкнулась сзади руками и, не удержавшись, полетела вперед. Обидней всего – не по направлению к телефону, а в сторону телевизора, потому что сидела, развернувшись от входной двери. Падая, больно ударилась лицом о паркет, но – странное дело – только усмехнулась. А усмехнулась потому, что твердо поняла:

встать может. Снова села и, придерживаясь руками за телевизионную тумбу, которая оказалась совсем рядом (сколько часов ползла она от нее буквально по сантиметру к телефонному аппарату!), начала медленно подниматься на ноги. А ведь поднялась! Ноги дрожали, подгибались и, может быть, не выдержали бы первого сильнейшего напряжения, не вцепись она так крепко в телевизионную тумбу. Наталья Михайловна усмехнулась. Увидел бы ее сейчас Федор Алексеевич… И как далеко он вдруг показался. То был близко-близко, совсем рядом, руку протянуть, а теперь – далеко…

Долго стояла Наталья Михайловна у телевизора, не то отдыхая, не то собираясь с силами, чтобы двигаться дальше… Она не знала, устоит ли, если шагнет от тумбочки, но в то же время понимала, что шагать придется, иного выхода нет, нужно двигаться вперед, верней – назад, к телефону, потому что спасение все-таки только в нем…

Она шагнула от телевизора. Стояла, шатаясь; долго стояла, но не упала. Руки выбросила по сторонам, как эквилибрист; балансировала ими, заносило ее туда-сюда изрядно. Но стояла. На полусогнутых ногах, но стояла. Сделала шаг. И тут так качнуло, что наверняка полетела бы, да сработал инстинкт – тут же полуприсела, погасила падающее движение. Усмехнулась. Был бы Федюшка, внук, он, наверное, здорово бы сейчас хохотал над бабкой. Так она явственно представила его, белесого, кучерявого. И лицом, и повадками в Федора Алексеевича… Наталья Михайловна, видя перед глазами Федюшкино смеющееся лицо, выпрямилась, сделала еще один шаг, теперь гораздо уверенней. Федюшка своим смехом помогал ей, придавал силы… Потом еще шаг, еще… Минут за десять – не больше – она пересекла всю комнату, из угла в угол, от телевизора до двери, и теперь самой было удивительно, как недавно столько часов ползла, ползла и так и не смогла доползти до телефона…

И когда стояла теперь рядом с телефоном, оставалось только руку протянуть, он вдруг сам зазвонил – да так резко, неожиданно, ведь столько часов молчал, что Наталья Михайловна вздрогнула, испугалась. Но вот взяла трубку.

– Да, – сказала Наталья Михайловна.

В трубке было молчание, хотя и чувствовалось чье-то дыхание.

– Да, – повторила Наталья Михайловна.

– Это звонят с того света. Гроб будете заказывать?

Голос показался Наталье Михайловне странно знакомым; неужто зять?.. Но не это главное. Главное – она вдруг весело, как будто тысячетонный груз спал наконец с плеч, рассмеялась в лицо вопросу.

И спокойно положила трубку на рычаг.

Ей и в самом деле сделалось покойно на душе. Если звонят с того света, значит, она еще жива.

Наталья Михайловна улыбалась. Она была счастлива в это утро.

Меч между мной и тобой
Телефонный роман

ДРУЗЬЯМ ДЕТСТВА
Владимиру Телъминову,
Виктору Конюхову,
Валерию Сомову и
Владимиру Федюнину

Опять приехал Петр. Третий год он приезжает в Москву, снимает квартиру, два-три месяца живет свободно, водит ее в театры, в кино, в рестораны, никогда не хамит, даже если она бывает у него дома, всегда спокойный, внимательный, выдержанный, так и веет от него порядочностью и честностью. Но ей с ним скучно.

Петр живет в Мурманске. Она знает, что он моряк, но никогда не расспрашивает его о работе; в год их знакомства, когда ей исполнилось семнадцать лет, он, видимо, несколько не рассчитал, много рассказывал о своих плаваниях, и главное, что она уяснила, это его вечная тоска по суше и вечная боль от измены жены: пока он плавал, жена увлеклась его лучшим «другом», которого он с тех пор вычеркнул из своей жизни. Ей было семнадцать лет, и она скучала, слушая про измены, про работу, ни того, ни другого она еще не знала, ей с самого начала показалось скучно разговаривать с ним, верней – скучно слушать его житейски-будничные рассказы, и если она потянулась к нему, то только по одной причине: он был взрослый, на тринадцать лет старше ее, и, несмотря на это, признал ее тоже взрослой, такое с ней случилось впервые. Ребята-ровесники казались ей маленькими, а потому глупыми и грубыми, а может, наоборот – они были глупые и грубые, а потому – маленькие, в общем – с ними ей не было интересно, хотя в общении с ними она и была сама собой – раскованная, веселая, даже нахальная немного, немного хамовитая, немного развязная, но это оттого, что с ними она была как рыба в воде, в своей стихии; другое дело, что они не интересовали ее как мужчины, как представители «мужской половины», к которой ее тянуло давно, тревожно и неудержимо. Но взрослые мужчины еще, как говорится, не вгляделись в нее, к семнадцати годам она, в отличие от своих подруг, была больше девочкой, чем девушкой, и вот случайно в парке познакомилась с Петром, который почувствовал в ней нарождающуюся женственность, был ее первооткрывателем. Он тогда решил про себя: я подожду, буду ждать год, два, сколько угодно, из этой девочки вырастет женщина, которая будет предана мне, я воспитаю ее, она будет только моей, это не то что связываться с женщиной, которая давно идет отравленным житейским путем, которая не ведает ни чистоты, ни святости, а думает лишь о деньгах и тайных утехах, – к черту все. Вот из этой девочки и получится настоящая жена, я подожду.

Он приручил ее к себе. Познакомился с родителями, официально вошел в семью как жених и будущий муж и вот приехал снова, такой уравновешенный, спокойный, порядочный, приехал, чтобы наконец увезти ее с собой в Мурманск – после свадьбы, которая должна состояться через месяц.

А ей было скучно с ним.

И когда он обнимал ее или целовал (теперь это позволялось), она ничего не испытывала, кроме легкого отвращения к самой себе, и руки ее, которые невольно поднимались и ответно обвивали его шею, были безжизненны и вялы. Он не обижался, не тревожился, не корил ее, принимая холодность за неопытность и чистоту, она еще не женщина, думал он, откуда быть страсти, нежности, томности, все впереди, он даже радовался про себя: Господи, в наше время, когда черт знает что творится кругом, – и такая неискушенность, чистота, двадцать лет, а как ребенок, ей-богу, и сколько счастья, должно быть, ожидает их в семейной жизни, когда она

проснется, отзовется на его любовь и будет верна ему, потому что с самого начала он не сделал ни одной ошибки, не оскорблял, не унижал, не принуждал ее ни к чему, а в женщине, верил он, долгие годы, если не всю жизнь, живет воспоминание-благодарность или воспоминание-унижение от того, как ей пришлось стать женщиной. В это он верил свято.

И только в одно не мог поверить: что ей с ним скучно. Мужчина, моряк, столько всякого пережил, рассказывает ей подробно, долго, а она вдруг скажет: «Опять об этом. Скучно, Петя». О каком-нибудь трудном плавании он рассказывает так, что самому становится не по себе: и гордость за товарищей, и жалостливое участие к ним переполняют душу, а она опять, в самый неожиданный момент: «Скучно, Петя». Даже если о заграница начинает говорить, о Дании, Японии, Индии, всего себя наизнанку выворачивает, она остановится, посмотрит на него: «Япония или Индия – ты только о себе рассказываешь, о своей тоске. Неинтересно все это, Петя…» И что больше всего поражало Петра – несоответствие ее образа, который жил в его душе, и этих пустых, взрослых, безразличных глаз, которыми смотрела на него двадцатилетняя девушка. Или он чего-то не понимал в ней?

Она была чиста и непорочна, думал он, отсюда внешняя холодность, просто она не проснулась, она еще спит, слава Богу, именно такая жена и нужна ему: он, только он должен пробудить ее к чувственной женской жизни, и тогда судьба неминуемо наградит их семейным счастьем.

В семнадцать лет она еще училась в школе, а теперь, в двадцать, работала секретарем-машинисткой в райздравотделе. Все это не имело, конечно, никакого значения: через месяц они уедут в Мурманск, Петр будет плавать третьим помощником капитана, она станет домохозяйкой, а если захочет – поступит в медицинский (Петр ей поможет): у нее всегда была мысль, не мечта, а именно мысль – стать врачом, желательно детским, отчасти потому она и работала в райздравотделе – чтобы помогли при поступлении в институт, снабдили всякими справками, характеристиками и рекомендациями (что ей и обещали, конечно). Работала она хорошо, отличалась грамотностью и исполнительностью, не была ни кокетливой, ни развязной с посетителями, скромная, сдержанная, для кого-то даже симпатичная, а в общем – обыкновенная, но приятная на вид, с мягкой нежной улыбкой, с задумчивыми серо-голубыми глазами, с опаленными белесостью легкими пушистыми волосами, которые после мытья сами собой вились, рассыпаясь по спине влажными отяжелевшими волнами.

Казалось, весь облик ее источал мягкость и нежность, и это было гораздо важней красоты, яркости, броскости – в облике ее читался как бы видимый залог того, что из нее вырастет верная, сердечная жена, не способная ни ко лжи, ни к лицемерию, ни к тайной корысти, ни к умерщвляющему душу эгоизму.

Звали ее Аленой.

В тот вечер Алена лежала у себя в комнате поверх одеяла прямо в платье, то ли скучала, то ли грустила, слушала пластинки, которых у нее было несметное количество, – подарки Петра: нравились ей Элвис Пресли, Луи Армстронг, Элла Фицджеральд и все остальное в таком же духе: грустное, затаенно-чувственное. Душа ее, когда она слушала Элвиса Пресли, исходила непонятным томлением: кажется, все уже решено, вся жизнь впереди известна и понятна (она выходит замуж), но в то же время…

Зазвонил телефон. Алена, не вставая, лениво протянула руку (уверенная, что это Петр), подняла трубку:

– Алло?

– Сколько время?

– Что-что? – не поняла Алена.

– Сколько время, тетя?

– Алло, кто это? – растерялась Алена, не понимая, кому может принадлежать детский голос. И в это же время начала быстро вспоминать, у кого из родственников есть маленькие дети.

– Тетя, ско-о-олько время?

– Не «сколько время», – поправила Алена, – а «который час».

– Ну-у, сколько время, тетень-ка-а?..

Алена взглянула на часы.

– Восемь часов десять минут. Алло, а кто это?

– Это Алик. Спасибо, тетенька. А вы где, тетя, в телефоне сидите, да?

– Нет, не в телефоне, – улыбнулась Алена. – А кто ты такой, Алик? Чей?

– Я еще маленький. Папа Алексей, а мама Марина у меня, знаете?

– Алексей и Марина… – задумалась Алена. – Нет, не знаю.

В трубке послышалась как бы легкая борьба, детский писк: «Ну, папка… У, папка, плохой какой-то… не буду тебя любить…» – и раздался густой мягкий голос:

– Алло…

– Да, да!

– Девушка, извините, пожалуйста. Сын балуется телефоном, видно, случайно набрал ваш номер. Без конца «сто» набрать хочет – время узнать, а получается Бог знает что…

– Да ничего, ничего, – поспешила Алена. И почувствовала: ей хочется еще и еще слышать этот голос, было в его звучании что-то приятное, волнующее.

Он замешкался на секунду. А она словно ждала дальнейшего разговора, не клала трубку.

– Вы любите Элвиса Пресли?.. Я слышу, он поет у вас.

– Люблю, – ответила она.

– Похоже, у нас с вами одинаковые вкусы… – Голос его зазвучал несколько игриво (говорить хоть что, лишь бы говорить, лишь бы не оборвалась ниточка разговора). – А знаете что, – вдруг с подъемом предложил он, – давайте познакомимся? Это ведь интересно – познакомиться вот так, по телефону. Как вас зовут?

– Но ведь вы женаты, – сказала она.

– А вы, значит, не замужем? – Чувствовалось, он там улыбается. – Приятная новость.

– Не радуйтесь. Через месяц у меня свадьба.

– Поздравляю! Значит, будем с вами на равных: вы – жена, я – муж.

– С одной лишь разницей: вы – не мой муж, я – не ваша жена.

– Именно поэтому нам и надо познакомиться. Терять ведь нечего, чего тогда бояться?

– Странный вы какой-то… Сидите у себя дома, рядом сын…

– …и жена рядом. На кухне.

– Вот видите, и жена дома, а вы хотите познакомиться с неизвестной девушкой.

– А вы ведь тоже не против хотя бы поболтать со мной. Если бы не так – вы бы давно бросили трубку.

– Ну, я… Я, может, из любопытства, может, мне делать нечего, я ведь ничем не рискую… Вы не знаете, кто я, где я, и никогда не узнаете. Мне можно и поболтать с вами. А вот у вас рядом сын, жена… Как это вы не боитесь, ей-богу?

– Если ваш муж будет бояться вас, а вы – его, лучше сразу забудьте о свадьбе.

– Ну, не в том смысле, что прямо бояться… Вам же должно быть совестно, что вы при жене заводите такие разговоры…

– А мне не совестно, я ничего плохого не делаю. И скажу вам откровенно, – он стал говорить тише, – скоро сюда войдет жена, и, если вы сейчас не дадите свой телефон, мы навеки расстанемся. А зачем? Какой смысл? Почему бы нам не поболтать иногда? Дружески так, а? Кстати, жена моя уже идет… – Он перешел почти на шепот.

Несколько секунд Алена колебалась, потом, будто перед глубоким нырком, вздохнула и назвала номер телефона.

– Запомните? – спросила насмешливо.

– Склерозом пока не страдаю. А как вас зовут?

– Алена.

– А меня Алексей.

– Я знаю. Ваш сын назвал вас. И вашу жену. Так что если что, буду жаловаться Марине…

Он позвонил ей через несколько дней. Она, честно говоря, уже не ждала его звонка. Если бы он хотел, то позвонил бы сразу на другой день. А сегодня, видно, делать нечего – вот и вспомнил о ее существовании.

Она разговаривала с ним сухим тоном, гораздо суше, чем в первый раз.

Он спросил:

– Вы что, обижаетесь на меня?

– Разве я уже могу, – она подчеркнула «уже», – обижаться на вас?

– Но что-то голос ваш сегодня… Может, вы болеете?

– Нет, я здорова. Просто я думаю, наш разговор никому не нужен – ни вам, ни мне. Давайте на этом закончим все.

– Ах, ах, какой холодный, строгий тон… А между тем сколько вам лет, Алена? Семнадцать? Восемнадцать?

– Какое это имеет значение? Ну, скажем, двадцать. Дальше что?

– В этом возрасте настроение у девушек очень переменчиво. Вчера – одно, завтра – другое…

– Откуда вы знаете?

– Опыт, дорогая девушка.

– А вы, оказывается, грубиян. Я думала, вы совсем другой…

– Извечная ошибка женщин. Сначала они напридумывают о нас Бог знает что, потом разочаровываются. Вы еще в женихе не разочаровались, Алена? Кстати, как его зовут?

– Ну, это вам совсем не обязательно знать. И вообще наши с ним дела никого не касаются.

– Значит, до свидания?

– До свидания…

– Жаль… Я-то думал, вы девушка умная. Во всяком случае – мне показалось так. И я подумал: почему бы не поболтать с умной современной девушкой? Что нам мешает? Оказывается, мешает обычная наша глупость.

– Вы самокритичны. Я себя глупой не считаю.

– Но это же видно и слышно – вы глупая, маленькая, но уже – поверьте – несчастная. Почему? Потому что вы собираетесь замуж, а вовсе этого не хотите – и вот страдаете. Это во-первых. Во-вторых, вы сами не знаете, чего хотите, и от этого страдаете еще больше. В-третьих, вы и разговаривать со мной стали, потому что глубоко в душе у вас спрятана надежда: а вдруг?.. Вдруг что-то случится, что-то изменится, и вы все-все поймете в жизни, и станете по-настоящему счастливой?! Хотите, буду вашим духовным учителем?

– Откуда в вас такая самоуверенность?

– Опыт, дорогая девушка.

– Сколько же вам лет? И прошу вас – не называйте меня «дорогой девушкой».

– Угадайте… Хотя – скажу: двадцать три.

– Ой, рассмешил меня! Двадцать три – и чего-то воображает о себе…

– Имей в виду, я отец семейства. И потом – три года в нашем возрасте – это ой-ей-ей… Ты еще только начинаешь входить в круги ада, а я, можно сказать, давно барахтаюсь в них.

– Жалуешься?

– Констатирую факт. – Явственно было слышно, как он усмехается в трубку. Но почему? Потому что смеется над ней или просто у него такая привычка – подтрунивать над людьми?

– Странный ты какой-то… – сказала она. – Я сейчас представила тебя… Мне кажется, у тебя ноги нет.

– Чего-о?! – Он залился таким веселым смехом, что Алена невольно улыбнулась. – О Господи! – смеялся он. – У меня ноги нет? Ну, ты даешь!

– А чего ты тогда злой? Когда у человека дефект, он всегда людей подковыривает.

– Если честно, у меня травма души.

– Ну да?!

– Точно. Я стараюсь, чтобы девушке скучно не было, а она говорит: вы инвалид. Ты протаранила мне душу.

– Слушай, ну ты и свистун, а? Как тебя только жена терпит?

– Не терпит, а любит, боготворит.

– Вот бы она послушала, как ты с другими по телефону треплешься.

– А что? Она знает, что я ветреный. У меня, понимаешь ли, ветер в голове. Мне все можно.

– И не стыдно?

– Не-к. Лучше я в открытую буду такой, чем спрячусь, как улитка в ракушке. А то потом начнете выковыривать оттуда палкой.

– Больно ты всем нужен!

– Всем не всем, а кое-кому нужен. Алику, например, – сыну. Жене. Тебе вот нужен.

– Прямо так и разбежалась!

– А что? Я очень даже удобный для тебя. Взять от меня можно много, а взамен – шиш.

– Чего от тебя взять-то?

– А поговорить с человеком – разве мало в наше время? Ну-ка, вспомни, с кем ты можешь поговорить искренне? С женихом можешь?

– Это не твое дело.

– А с родителями?

– Тоже тебя не касается.

– Подруг у тебя нет. Угадал? Остается один Алеша.

– Кто это? Ты, что ли?

– Я.

– Ой, держите меня, я падаю! – рассмеялась Алена. – Я такого хвастуна в жизни не встречала.

– И не встретишь. А хочешь, предреку нашу судьбу?

– Нашу? Не смеши.

– Мы встретимся, потом ты меня бросишь, выйдешь замуж, но всю жизнь будешь вспоминать меня…

– Как бы не так.

– Впрочем, возможны варианты. Например, не ты, а я тебя брошу.

– Еще не виделись, а бросать собирается.

– Замуж не раздумала выходить?

– Так я тебе и рассказала все!

– А чем тебе, собственно, не нравится жених?

– С чего ты взял, что не нравится?

– Нравится? Врешь! – твердо сказал Алексей. – Угадал? Только честно?

– Ничего я тебе не скажу. Ты кто такой, чтобы я тебе докладывала?

– Я? Твой друг и учитель – Алеша.

– Вот что, друг Алеша, я устала.

– Вас понял, перехожу на прием. Когда позвонить в следующий раз?

– Не надо звонить. Ни в следующий, ни в какой другой раз. Ни к чему.

– Тогда обнимаю. Какие у тебя губы – полные, мягкие, тонкие?

– Ого! – невольно усмехнулась Алена. – Ну, положим, мягкие. Дальше что?

– Целую тебя в мягкие губы! – И повесил, нахал, трубку.

Весь следующий день ее томила странная тоска. Казалось бы, все хорошо, Петр приехал за ней на работу, сидел в райздравотделе серьезный, вежливый, лишних вопросов не задавал – не мешал работать: Алена печатала на машинке. Несколько раз выходила из кабинета Нина Васильевна, заведующая отделом, улыбалась Петру: «Не боитесь, Петр Валентинович, увозить нашу Алену из Москвы? Ведь там кругом моряки, отобьют…» В ответ он тихо улыбался, посматривал на Алену: слышишь, мол, что говорит Нина Васильевна? Разве такое может случиться с нами? Алена только ниже склонялась над машинкой, как будто выискивая в тексте ошибки. Она еще ничего не знала, ни любви, ни измен, но в этот момент ей хотелось изменить Петру. Просто так. Назло. Она сама не понимала, чего ей хочется. Она терпела Петра, потому что мечтала об одном: совершенно изменить свою жизнь. Больше всего ее угнетала жизнь рядом с родителями. Надоели их нотации, наставления. Их страх за нее: с ней обязательно должно что-то случиться – ужасное, непоправимое. Последние три-четыре года это ощущение, как меч, висело над всей их семьей. Отец ненавидел ее друзей, всех этих Стасов, Эдиков, Аликов, Нориков.

Он постоянно ждал от них какой-нибудь пакости. Блат, жаргон, курение, тряпки, прыщи, длинные ноги, сутулые спины, бегающий взгляд… Что за поколение такое? Бывший спортсмен, отец всегда смотрел людям в глаза; в свои пятьдесят пять лет был подтянут, строен, опрятен, не пил, не курил. В мужчинах любил основательность и порядочность. Что ему, кстати, и нравилось в Петре. Кроме того, Петр знал жизнь, многое повидал, через многое прошел, – чем он плох для Алены? У отца была теория: девушка должна выходить замуж как можно раньше, рожать детей, воспитывать их, а не идти в люди, не познавать так называемую жизнь, которая для девушек кончается тем, что они идут по рукам, теряют идеалы, разочаровываются в любви, не рожают детей, плюют на родителей… А мать? Мать всегда, всю жизнь была под пятой у отца. Что отец сказал – закон для семьи. Осторожные движения, грустный взгляд, кроткие глаза – вот что взяла от матери Алена. Внутреннюю тоску тоже, наверное, у нее позаимствовала. Иначе как понять, почему при внешней благополучной жизни Алене так плохо?

После работы Петр повел Алену в театр. Иногда ему удавалось достать билеты на спектакли в хорошие театры – МХАТ, Малый, «Современник», однако больше других он любил театр «Ромэн». Балаганность «Романа» раздражала Алену, дешевые ходы и неприкрытая мелодрама еще больше портили дело, но она уступала Петру. Уступала, потому что любила само звучание цыганских голосов, их напевность, щемящую грусть и томность движений. В театр она ходила, чтобы услышать три-четыре песни. Действие ее не интересовало. Совсем другое происходило с Петром. В жизни спокойный, уравновешенный, хладнокровный, он любил в «Романе» горячность, зажигательность, стихию цыганской бродячей жизни, глаза его накалённо горели, ладони начинали заметно потеть (Алена ощущала это – Петр всегда держал ее руки в своих), а ноги в такт музыке непроизвольно выбивали ритм. Случалось, зрители делали им замечания, и в эти минуты Алена испытывала искренний стыд за Петра.

Но что было делать? Она дала согласие выйти замуж. Потому что жить с родителями – еще большая тоска. Нужно резко изменить жизнь. Раз и навсегда.

К тому же Алена считала себя некрасивой.

И это делало ее очень несчастной.

В театре, когда она взглянула на себя в зеркало, она чуть не расплакалась от досады. Собственные глаза показались ей плоскими и холодными, волосы лоснились, и следа не было от

их обычной пышности. Алена перехватила в зеркале взгляд Петра – он откровенно любовался ею.

Неужели вот этот человек – ее будущий муж?

Весь спектакль она сидела, как будто ее окатили холодным душем. Даже страстные, томные песни цыган не задевали ее, как обычно.

– Ты не заболела? – шепотом спросил Петр.

Вместо ответа она помотала головой.

Она смотрела вперед, на сцену, но почти ничего не видела. Хотела она того или нет, но в ушах у нее все время звучал голос Алексея. Думать и вспоминать о нем было совершенно бессмысленно, она понимала это, но ничего не могла поделать с собой: думала, вспоминала, вслушивалась в его голос… Что в нем было особенного? Что вообще хорошего или умного сказал Алексей? Да ничего. Просто он разговаривал с ней свободно, весело, наплевать ему было на какую-то там Алену, что хочу – то и говорю, и даже, нахал, «поцеловал» ее в губы (она улыбнулась невольно). Почему-то Алене представилось, что целуется он совсем не так, как Петр, не с мнимой осторожностью, а грубовато, по-свойски, запросто. Она покосилась на Петра. Он сразу почувствовал ее взгляд, спросил:

– Что?

– Я выйду, хорошо?

Он наклонился к ней.

– Тебе плохо? Может, выйдем вместе?

– Нет, – прошептала она. – Я одна. На несколько минут.

Он кивнул, выпустил ее руку из своей; она встала и вполунаклон заскользила между рядами.

В фойе Алена подошла к телефону-автомату, набрала домашний номер.

– Да, – густо прозвучал голос отца.

– Папа, это я. Мне никто не звонил?

– А Петр уехал к тебе. На работу.

– Я знаю. Больше никто не звонил?

– Нет. А что случилось? Где Петр?

– Да ничего не случилось. Петр здесь, со мной. Мы в «Романе».

– Ясно. Привет морскому десанту!

– Какому еще десанту?

– Шучу, шучу, Аленка. Петру привет передавай!

Алена повесила трубку.

Странно, что она надеялась, будто Алексей позвонит. Ведь сама сказала – не звони. Ни к чему. А он взял, нахал, и «поцеловал» ее. Ну надо же! Она улыбнулась. Подошла к зеркалу. «Какие у тебя губы – полные, мягкие, тонкие?» Какая наглость, а?! Она смотрела на себя в зеркало и улыбалась. Почувствовала, кто-то пристально наблюдает за ней. Оглянулась. Женщина-контролер – с программками в руке – заискивающе улыбнулась Алене, как будто ее поймали на месте преступления.

– Простите, случилось что-нибудь? Я могу помочь?

– Нет, нет, ничего… – забормотала Алена, быстро поправила волосы и направилась в зал.

Когда села в кресло, Петр взял ее руку в свою, прошептал:

– Все в порядке?

И опять вместо ответа Алена мотнула головой. А о чем тут говорить?

После спектакля зашли поужинать в ресторан. Благо он был рядом, при гостинице «Советская», в здании которой находился и «Ромэн». Денег Петр никогда не жалел. Неизвестно, было ли у него вообще много денег или только во время отпусков, когда он приезжал в Москву, но заказывал он все, что только пожелает душа. Правда, ни сам он, ни Алена не

пили ничего крепкого, изредка шампанское, так что без спиртного получалось в общем-то не так дорого. Хорошая рыба, печень, маслины, заливное, свежие овощи, запеченные в сметане грибы, телятина на вертеле, двойной кофе… Сидели, ели, Петр посматривал вокруг горделивым взглядом, говорил:

– В Мурманске свожу тебя в «Ресторан встреч». Он так и называется – «Ресторан встреч». Обычно именно там встречаются после долгой разлуки…

– Мы, кажется, еще не разлучались надолго.

– Просто показать тебе хочу. Чтоб ты знала, где будешь встречать меня, когда я вернусь из очередного рейса. Там, конечно, не так шикарно, но есть и свои прелести.

– Драки, например?

– Не без этого, – улыбнулся Петр. – Какой моряк откажет себе в удовольствии немного подразмяться на суше?

«У Алеши наверняка не бывает таких денег, – подумала Алена. – И в ресторан он не ходит. На какие шиши?»

– Але-о-она, ты где? – улыбаясь, Петр положил свою крепкую ладонь на оголенную до локтя руку Алены.

– Скажи, а индийские женщины похожи на цыганок? – спросила первое, что пришло на ум, Алена.

– Когда впервые оказался в Бомбее, а позже я бывал там десятки раз, индианки показались мне чудом.

– Ого, оказывается, ты засматриваешься на чужих женщин? А в Мурманске, между прочим, тебя ждала жена.

– Во-первых, она не ждала. Она давно спуталась с Колькой. Другое дело, что я, как всякий муж, узнал об этом последним.

«Смотри, какой несчастненький…» – подумала Алена.

– Во-вторых, я не засматривался. Я просто любовался.

– Это не одно и то же?

– Нет, не одно и то же. Любуются – бескорыстно, а засматриваются – с тайной надеждой. С похотью.

– А у тебя похоти не бывает?

– У меня не бывает. – Он внимательно посмотрел на Алену. – Я тебя чем-то раздражаю сегодня?

– Ты не ответил на мой вопрос: похожи индийские женщины на цыганок?

– Нет, не похожи. Индианки – это само целомудрие, чистота, нравственное совершенство…

«Ох, ох…» – усмехнулась внутренне Алена.

– А цыганки – это призыв к пороку, открытая страсть, забубенная жизнь, сгорание мотыльков в огне…

– А ты, оказывается, еще и поэт. Как это романтично – моряк и поэт.

– Между прочим, до двадцати трех лет действительно писал стихи. Потом бросил. Поэзии нужно отдаваться целиком. А я штурман – и отдаться поэзии полностью не в силах.

– А любви отдаться целиком – в силах?

– Алена, один маленький совет: когда у тебя плохое настроение, не нужно его портить другим людям. Может, у тебя неприятности на работе? Нина Васильевна как-то странно смотрела на меня…

– Мне надо выйти. Извини. – И она оставила его одного.

Пока набирала номер телефона, рядом появился молодой человек. Подмигнул Алене. Она отвернулась: «Нигде от них покоя нет…»

– Папа, это я. Мне никто не звонил?

– Нет. А от кого ты ждешь звонка?

– Разве тебя интересуют мои друзья?

– Представь, интересуют.

– Мне должны были позвонить Алик, Эдик, Стас, Норик и Люсьен. Никто не звонил?

– Ты еще и смеешься?

– Почему? – Она и в самом деле улыбнулась. – Кажется, у меня скоро свадьба? Неужели и на свадьбу я не могу пригласить своих друзей?

– Можешь, конечно, – вздохнул отец. – Ты откуда звонишь?

– Мы с Петром ужинаем. В ресторане гостиницы «Советская».

– Ох, балует тебя Петр…

Алена повесила трубку. Молодой человек тут как тут.

– Дэвушка, лишней двушки не найдется?

– Нет.

– А дэсятчик?

– Тоже.

– Между прочим, запомнил ваш тэлефон. Когда можно позвонить?

Алена внимательно, с ног до головы измерила его взглядом.

– У меня тут в зале жених сидит. Не хочешь познакомиться?

– Слушай, дарагая! П-азнакомь! Вэк за твое здоровье пить будем!..

«Ничем их не прошибешь…» И, невольно покачиваясь на каблуках, царственной походкой отправилась в большой зал. Спиной чувствовала тяжелый взгляд, он буквально жег ее…

Домой поехали на такси. Каждый вечер, где бы они ни были, Петр привозил Алену к родителям. Если было не совсем поздно, некоторое время сидел в гостях, пил чай, разговаривал с отцом. Разговаривать друг с другом они любили. Главное, что их связывало, – серьезное отношение к жизни. Жизнь – сложная вещь, она требует к себе только одного – серьезного подхода. Панибратства жизнь не терпит. Пока они разговаривали в таком духе, мать с Аленой обычно оставляли их вдвоем, уходили поболтать о своем. Впрочем, особой близости между матерью и дочерью не было, потому что мать, в угоду отцу, всякое искреннее признание дочери воспринимала как надвигающуюся катастрофу: Господи, что-то должно обязательно случиться… Алена делала только вид, что она «шепчется» с матерью, признается ей в каких-то «секретах», – робкий и испуганный вид матери раздражал ее: «Неужели я когда-нибудь буду такой? Но почему, почему?!»

На этот раз часы показывали двенадцать часов ночи, и Петр, перебросившись с отцом несколькими фразами, попрощался и поехал к себе. Квартира, которую он снимал, была довольно далеко от центра, у метро «Профсоюзная». Добираться приходилось около часа, поэтому он всегда спешил, если надвигалась ночь. На предложение отца или матери остаться у них Петр всегда решительно отказывался. И еще одна деталь – он редко приглашал к себе в гости Алену. Стеснялся чужой мебели. Всего чужого. Холодного. «Вот когда приедем в Мурманск, тогда…» Он всегда в радужных тонах обрисовывал свою однокомнатную мурманскую квартиру, и главное, почему он гордился ею, – она была собственная, кровная.

Когда Петр уехал, Алена облегченно вздохнула. Очень устала за сегодняшний день. Ложась спать, думала: сейчас провалюсь в сон и – все. Но, странное дело, как только легла, так сон будто рукой сняло. Вспомнила, как Алеша «поцеловал» ее… Ну надо же! И опять стала улыбаться… Улыбаясь и вспоминая, она в конце концов заснула, а проснулась утром зареванная, в слезах…

Несколько дней прошли в тоске и томлении. Алексей не звонил. Один раз, когда раздался звонок, Алена выбросила из рук трубку, как змею: «Слушай, дэвушка, это я, из ресторана. Помнишь такого?» Звонил он и еще раз: «Значит, нэ хочешь уважить чэловека? Вай-вай…» Алена снова бросила трубку. Больше, слава Богу, не звонил.

До свадьбы оставалось чуть больше двух недель.

Обговаривали детали. Самое важное: надо заранее заказать банкетный зал в «Праге». На двадцать пять-тридцать человек. Больше – неприлично, балаган какой-то, меньше – тоже нельзя, родственники, друзья, сослуживцы – народу немало набирается…

– Меняются времена, – сказал отец Алены. – Помнишь, Люся, нашу свадьбу, студенческую? Собрались группой в общежитской комнате, стрельнули шампанским, дешевая закуска, танцы под пластинки… А ведь весело было, а?

– Весело, – согласилась мать.

– Нет, не скажите, Григорий Александрович, – возразил Петр. – Свадьба – событие в жизни. Может быть, самое важное. И оно должно остаться в памяти надолго, на многие годы.

– Дело не в самой свадьбе. А в том, насколько крепко завяжется жизнь.

– Это так, – согласился Петр. – Особенно это важно для моряков. Ты плаваешь по полгода и должен быть уверен: дома тебя ждет жена. Жена!

– В Алене я не сомневаюсь, – сказал Григорий Александрович. – Есть, правда, в ней какая-то чертовщинка, но это пройдет. Вон Люся – тоже не сразу такая стала. А теперь как шелковая… – Григорий Александрович потрепал жену по плечу.

Мать кивнула в согласии. Она тоже помнила: когда-то была веселая, все горело в руках, но семейная жизнь сделала свое дело, стала степенная, спокойная, душила только временами непонятная тоска. Да что тоска? Блажь. Нечего на нее и внимания обращать…

Алена сидела у себя в комнате, невольно слушала разговор родителей с Петром. «Что же это? – думала она. – Господи…»

И вот тут наконец раздался звонок, которого она так ждала.

– Привет! – как ни в чем не бывало сказал Алексей.

– Здравствуй, – ответила она, всеми силами стараясь придать своему голосу бесстрастность и спокойствие. А сама в это время улыбалась.

– Как жизнь молодая? Вот решил позвонить – думаю, вдруг захирела моя невеста?

– Не твоя. Чужая.

– Какая разница… Суть-то от этого не меняется? Или ты раздумала выходить замуж?

– Как бы не так.

– Значит, характер у девушки волевой, стойкий. Поздравляю! Между прочим, одно важное событие…

– Неужели у тебя бывают важные события?

– Родился человек! Три килограмма четыреста граммов. Пятьдесят три сантиметра. Поздравь!

– Поздравляю! Какой по счету?

– Да не у меня. У женщины по имени Лариса.

– Кажется, жену твою зовут Марина?

– Жену – Марина, а сестру – Лариса.

– У такого лоботряса еще и сестра есть? Ну, поздравляю!

– Две сестры. Одна – Лариса, другая – Галя. Угадай, кстати, где Галя живет?

– В Нью-Йорке, где же еще.

– Немного ближе. В Мурманске.

– Ну да? – не поверила Алена.

– А что? Муж у нее – капитан дальнего плавания. А когда он в дальних плаваниях, Галя ждет его на берегу. И рожает детей. Целых трех уже настригла.

– Да, семья! – Сама не зная почему, Алена искренне обрадовалась, что сестра Алексея живет в Мурманске. Как будто там, в далеком далеке, забрезжило что-то хорошее для нее, появилась родная душа…

– Слушай, а кто твой женишок?

– Так я тебе и сказала! – рассмеялась Алена.

– Чего ты смеешься? Чего тут смешного?

– Да так… Ты лучше сам скажи, кто ты такой?

– А тебе интересно?

– Очень.

– Шутишь или врешь?

– Не вру и не шучу.

– Я человек свободной профессии. То есть – слесарь-сантехник. Но заметь – при домоуправлении Министерства иностранных дел.

– Простой-простой слесарь?

– Простой-простой слесарь.

– А по разговору можно подумать – артист или художник.

– Видишь ли, я художник по натуре, артист в душе и слесарь в жизни.

– Глубокий человек.

– Глыбочайший. Потонуть можно. Слушай, а кто ты?

– Нет, о себе я тебе ничего не скажу.

– Такая скрытная? Да я вижу тебя насквозь. Ты маляр с третьего участка. Позавчера утащила у нас полфляги зеленой краски.

Алена не выдержала, рассмеялась.

– Ох, как там у нас заразительно Алена смеется, – сказал Григорий Александрович Петру.

– Боюсь, скучать она будет по московским друзьям, – ответил серьезно Петр.

– Ничего, время пройдет – дурь выветрится. Ты с ней, главное, построже, построже… Женщинам это всегда на пользу идет.

– Хотела тебя спросить, – продолжала смеяться Алена, – ты часто в рестораны ходишь?

– Подбираешься к моему кошельку? – наигранно-грозно воскликнул Алексей. – Так знай же, коварная, я общественный контролер! В рестораны хожу только с обысками.

– А какой ты из себя, а?

– Я? Высокий, стройный, с черными усами. Как Боярский.

– А если честно?

– Маленький, толстый, лысый. Как Евгений Леонов.

Что тут было смешного? А Алена смеялась безудержно, так ей хорошо было слушать его глупости и шутливые парадоксы.

– Нет, правда, мне хочется представить тебя. Какой ты?

– Меня представить невозможно. Меня нет. Есть только мой голос.

– А как тогда твоя семья? Как она терпит тебя – незримого, невидимого?

– Господи, им еще интересней. Да и выгодней – кормить не надо.

– И ты всегда голодный, бедняжка?

– Вроде сытый, а есть всегда охота. Пойду-ка, кстати, сделаю себе яичницу. Когда тебе позвонить? Ну, воскликни: никогда!

Она рассмеялась.

– Звони, когда хочешь. Лучше вечером.

– Ты правда замуж выходишь?

– Правда.

– Жаль. – И повесил трубку.

К родителям и Петру Алена вышла из своей комнаты преображенная. Не только глаза, не только лицо, но вся она, казалось, светилась радостью и счастьем.

– Что это с тобой? – удивился Григорий Александрович.

– Ой, я такое платье подвенечное заказала! – ответила Алена первое пришедшее в голову. И закружилась по комнате.

И даже подлетела к Петру, чмокнула его в щеку.

– Как платье? – удивилась мать. – Мы ведь заказали уже…

– А я еще одно заказала! – кружилась Алена.

– Да зачем?!

Никто ничего не понимал.

– Разве нельзя? – спросила Алена, перестав кружиться и обращаясь только к Петру. – Мне хочется два платья. В первый день – одно, во второй – другое.

– Да можно, можно, конечно… – быстро заговорил Петр. Он подумал: Господи, два платья, да хоть десять, разве жалко?

– Ну, если нельзя, тогда я откажусь. Я позвоню и откажусь.

– Теперь уж ладно, – поморщившись, махнул рукой отец. – Но вообще, Алена, ты принимаешь слишком опрометчивые решения. Причем одна, ни с кем не посоветовавшись. В будущем это может плохо кончиться…

– Ну и ладно! Обойдусь! Да и не нужно мне никакого платья! Подумаешь! Я вообще могу без платья! Пожалуйста!

Алена сделала вид, что обиделась, фыркнула и упорхнула к себе в комнату. Петр и родители переглянулись между собой.

Через некоторое время Петр, постучавшись, зашел к ней в комнату.

– Ты что, обиделась? Ну, хочется два – носи на здоровье. Что ты?

– Я уже отказалась.

– Как? – не понял Петр.

– Позвонила и отказалась: родители и жених против.

– Да мы не против… Мы просто сразу не поняли.

– Что теперь говорить? Поздно.

– Позвони и закажи снова, если хочешь.

– Чтоб меня совсем за дуру посчитали? Нет уж, уволь. И вообще – чего мы сидим дома? Чего ты, как старый пень, расселся с родителями? Все не наговоритесь! Как базарные кумушки, ей-богу…

– Да что с тобой?

– Можешь ты меня на улицу вывести? На воздух? Взял бы и покатал невесту по Москве-реке. Ах, хочется как… с ветерком! Ну, что стоишь?

– Ты правда хочешь кататься?

– Ну а что, я просто так говорю, что ли?

– Пойдем. С удовольствием. – Петр пожал плечами. – Но от платья ты зря отказалась.

– Все! Про платье – забыто. Было и сплыло.

Когда они вышли из комнаты и быстро собрались уходить из дома, родители посматривали на них с недоумением. Что происходит? Они ничего не понимали. Обычно вялая и тусклая, Алена выглядела возбужденной, решительной, резкой.

Уходя, Алена не проронила ни слова; Петр, прощаясь, сказал, как бы извиняясь перед Григорием Александровичем и Людмилой Ивановной:

– Мы погуляем немного… Все хорошо. Не беспокойтесь…

Чем ближе надвигалась свадьба, тем раздраженней становилась Алена. Умом она понимала, что очень скоро станет женой Петра, но осознать этого до конца, принять всем существом не могла, не получалось. То есть она знала: так все и будет, но знание было просто знанием, даже как бы удивлением, что ли, оторопью. По любому поводу Алена вспыхивала, говорила с Петром резко и грубо, со стороны даже слушать было неприятно, особенно переживала мать Алены – Людмила Ивановна, женщина чувствительная и робкая, но Алена в расчет ее не принимала, считалась только с отцом, не столько даже считалась, сколько побаивалась

его, поэтому в присутствии отца разговаривала с Петром более-менее сносно. А Петр, мудрый человек, решил про себя одно: пусть Алена перебесится, можно в конце концов и понять ее – впереди новая жизнь, туманная и неизведанная, позади – жизнь девичья, безгрешная, бездумная, – наверняка каждая невеста испытывает подобное: радость и страх, томление и отчаяние, восторг и раздражение, любовь и смятение. Разве не так? Так, отвечал себе Петр и поэтому сносил выходки Алены с олимпийским спокойствием, даже с некоторой снисходительностью, чем еще больше раздражал Алену.

– Что ты все усмехаешься? – набрасывалась на него Алена.

– Я не усмехаюсь. Я согласен, – спокойно отвечал Петр.

– С чем согласен?

– С тобой согласен.

– Я говорю – не с кем, а с чем?

– С тобой и с тем, что ты говоришь. Имей в виду: если ты хочешь вывести меня из себя, ничего не получится. Я, бывало, по полгода суши не видел. И ничего, спокоен.

– Ах так?

– Так.

– Ну, поздравляю! Может, ты меня по году не будешь видеть – и тоже будешь спокоен?

– Нет, буду скучать.

– Ха, «буду скучать»! А мне, мне каково будет?!

– Если любишь – будешь ждать.

– Вот именно – если любишь. Разве я люблю тебя?

– Ты пока вообще не знаешь, что такое любовь.

– И что это такое?

– Любовь – это родство. Родство людей. Самые близкие, самые родные – это любимые.

– Мало того, что ты моряк и поэт. Ты еще и философ.

– Думать никому не вредно.

– Пока такие, как ты, думают, от них жены убегают.

– Когда у человека нет ничего святого за душой, он все время куда-то бежит. Постоянство – признак настоящего человека.

– Да в чем постоянство-то?

– Во всем. В любви. В работе. В философии жизни. Даже в месте жительства.

– А сам увозишь меня из Москвы. В Мурманск.

– Там начнется твоя настоящая жизнь. От тебя зависит, где она кончится.

– Да, веселое занятьице – думать еще, где кончится моя жизнь! Может, сразу и гроб заказывать?

– Ты не выведешь меня из себя. Даже и не пытайся.

– Такой ты правильный, да?

– Не в этом дело. Я хочу жить человеческой жизнью. Я люблю тебя. И сделаю все, чтобы ты стала счастлива со мной.

– Все это одни слова. Слова, слова…

У нее было ощущение надвигающейся катастрофы. Казалось бы, ну что страшного – выходит замуж? Главное, навсегда освободиться от родительской опеки, которая с каждым днем, чем больше взрослела Алена, становилась для нее непереносимой. Так о чем жалеть? Чего бояться? Ведь не в тюрьму – в замужество уходит, из которого разве нет пути назад?

И как же она обрадовалась, когда на следующий день позвонил Алексей! Ей так хотелось поговорить хоть с кем-нибудь откровенно. Но с кем?

– Ты счастлив, что женат? – спросила она.

– Ого, какие вопросы интересуют нашу невесту, – усмехнулся Алексей. – Брось о счастье думать, детка. Счастье – это миф. Лучше расскажи, как жизнь молодая, что новенького на горизонте?

– Ты можешь быть серьезным?

– Не-к.

– Да ну тебя! Неужели всегда только и треплешься языком?

– Детка, мужчина разговаривает с женщиной только для того, чтобы скрыть свои намерения.

– И ты?

– И я.

– А зачем?

– В этом-то и весь секрет. Секреты, между прочим, просто так не разглашаются.

– Знаешь, мне почему-то хочется взглянуть на твою жену. И на твоего сына. Счастливы они?

– Конечно. Только они не понимают этого.

– Почему?

– Жена, например, пилит меня, что мало денег зарабатываю. Это во-первых. Во-вторых, что не учусь дальше. В-третьих, что у меня безалаберный характер. В-четвертых… Ну, итак далее…

– А сын?

– Сын Алик дуется, что я не купил ему пневматический пистолет.

– Ну, это ерунда…

– Для тебя. А для него, глупца, целая трагедия. Нет, не понимают они своего счастья. Жить. Просто жить. Вот счастье.

– Амебы тоже живут.

– Амебы, детка, не сознают, что живут. А твой лучший друг Алексей – сознает. И он счастлив! Запомни это, Аленка! Ведь ты невеста, скоро будешь вить семейное гнездо…

– Я хочу увидеть тебя.

– Серьезно?

– Я хочу понять, какой ты. Ты такой в телефонных разговорах или ты вообще такой?

– Я вообще такой. Ей-богу.

– Я хочу сама убедиться. Какой ты? Мне нужно увидеть тебя.

– Да я же буду приставать к тебе.

– Как это?

– Ну, ты что, маленькая? Я мужчина, ты женщина, встретимся – начну приставать.

– Зачем?

– Как зачем? Закон жизни. Как говорится, зов природы.

– Нет, я так не могу, – сказала Алена.

– И я не могу. Между прочим, скажу тебе откровенно: не люблю я с вашим братом возиться.

– С кем это?

– Ну, ты же невеста. Девушка небось. То да се… Это такая морока – не приведи Господь.

– Ты что, боишься влюбиться в меня?

Алексей от души рассмеялся.

– Влюбиться? Да я просто боюсь тебя!

– Боишься меня? А сам смеешься, – не поняла Алена. – Странный ты какой-то… Невозможно с тобой разговаривать всерьез.

– А ты представь себе меч. Представила?

– Меч? Странно… Ну, представила.

– И представь, что этот меч между нами. Между мной и тобой. Разве можем мы встретиться?

– Ничего не поняла…

– Ты хоть десять-то классов окончила?

– Я тебе дурой кажусь, да?

– Не дурой, а, мягко скажем, непросвещенной.

– Я хочу увидеть тебя. Мне нужно. Неужели ты не понимаешь?

– Да ты же невеста. Скажи спасибо, что я, а не кто-нибудь другой оказался на моем месте.

– Мне нужно поговорить с тобой…

– Ты что – глупая? Я же сказал: у меня принцип – с девушками я не встречаюсь.

Между нами меч, понимаешь! Меч, между прочим, жизни рушит.

– А если бы я была женщиной?

– Слушай, ты мне всегда казалась нормальной. Вполне, так сказать. Ты не с приветом случайно?

– Испугался?

– Честно скажу: женщин с приветом я остерегаюсь.

– Господи, глупый… – вздохнула Алена. – Просто плохо мне. Понимаешь? У меня же ни одной родной души на свете…

– Нет, раньше ты мне определенно больше нравилась… Может, тебя жених наказывает ремнем? Так ты скажи, я с ним разберусь по общественной линии. Как слесарь-сантехник при домоуправлении Министерства иностранных дел.

– Опять ты за свое…

– А что? Женихи – народ свирепый. С ними надо ухо держать востро.

– Ты мне позвонишь? Или я тебя уже насмерть напугала?

– Насмерть меня напугает только смерть. В крайнем случае – бабушка, вставшая из гроба. На худой конец – стая волков…

– Алексей… я хотела тебя спросить… А я не могу тебе позвонить?

– Э, не-ет, детка, исключено. Я о счастье семейном беспокоюсь. О душевном покое.

– Пожалуйста, позвони мне. Позвонишь?

– Позвоню. Конечно. О чем разговор.

– Опять ты смеешься. Дай слово, что позвонишь. Ну?

– Даю честное-пречестное слово пионера – позвоню.

– Ну, хорошо, я тебе верю… Смотри не обмани!

Вечером вместе с Петром Алена поехала в ресторан «Прага» – посмотреть банкетный зал, где будет проходить свадьба. Зал им понравился, самое главное – он понравился Алене. Она никогда раньше не была в «Праге», и его тяжелые старинные залы, красивые резные подсвечники, богатые ворсистые ковры, особый дух торжественности и избранности произвели на Алену впечатление. Что-то ей почудилось от старины, от того времени (которое она знала по книгам и кино), когда нарядные гости поднимались по широким царственным лестницам, залы сверкали от тысячи зажженных свечей, играла тихая торжественная музыка, движения людей были исполнены достоинства, грации и красоты. Отчего-то вдруг почудилось Алене, что все в ее жизни должно быть хорошо; как бы и что бы ни происходило – в конечном итоге все к лучшему, все к счастью. Особенно поразило и обрадовало ее то, что в центре банкетного зала, как будто в Африке или в Индии, росли самые настоящие пальмы, к ним можно было подойти, потрогать руками, погладить, они были самые настоящие, и это было удивительно – в центре Москвы, на Арбате, в ресторане – чудо природы, южные изнеженные деревья, ну надо же… Алена, стоя у перилец, смотрела во все глаза на пальмы, на их перламутрово-зеленые листья, похожие на огромные веера, не только смотрела, но и улыбалась: вспоминалось детство, – наверное, потому, что тогда много было разговоров про Африку, про обезьян, про

пальмы… Как недавно все это было, совсем близко по времени; кажется, протяни руку – и дотянешься до своего платьица в детстве, до косички, до белых нарядных гольфов, до самой себя, смешливой и глупой проказницы… Ах, нет, это хорошо наверное, что свадьба будет здесь, в старинном красивом зале, среди пальм, с тяжелыми золочеными подсвечниками по бархатным стенам, с широкими просторными окнами, глядящими в синеву неба, с анфиладами и балконными барельефами наружных террас… Алена с благодарностью взглянула на Петра: все же он молодец, что решил устроить свадьбу именно здесь, он как бы заранее угадал, что Алене должно тут понравиться… Неужели он может угадывать ее прихоти и желания, о которых она сама имеет смутное представление?

В первый раз она подумала о его любви к ней не с раздражением, а с благодарным удивлением и даже некоторой завистью.

– Давай поужинаем здесь? – предложил Петр. – Посидим, осмотримся. Представим, как у нас тут будет все скоро…

– А можно?

– А почему нет? Ресторан открыт, зал работает.

Они сели за столик не рядом с пальмами, а в самом углу, чтобы был побольше угол обзора. Алена чувствовала в себе некоторую взволнованность, что-то неясное, тревожное бродило в ней, и она сама не могла бы сказать, что именно, какие именно это были чувства – радость или напряжение, сумбурное ожидание непонятно чего или просто душевная смута…

– Угости меня, пожалуйста, шампанским, – попросила Алена.

– О, шампанского, сколько только душа пожелает! – обрадовался Петр.

Он видел, что с ней что-то происходит, глаза ее сияли, и хотя сияние это было лихорадочным, а взгляд рассеянным, он радовался этому. Алена словно пробудилась от спячки, и это было так непохоже на нее за последнее время, когда они бывали вместе.

От шампанского она начала тихонько смеяться. Возьмет бокал, посмотрит сквозь него на свет, сотни пузырьков трепетно полыхают в пенящемся огне шампанского, сделает два-три глотка, снова смотрит, а потом начинает смеяться – легко, весело, но со странным надрывом, который нет-нет да и прорвется сквозь смех.

В этот вечер Алена выпила шампанского несколько бокалов. Никогда прежде она не выпивала столько.

– А где ты меня посадишь? Где я буду сидеть? Вон там? – Она показала рукой за перильца площадки, которая несколько возвышалась над залом. Там же, на площадке, росли и пальмы.

– Если хочешь, конечно. Поставим там длинный стол, а потом…

– Погоди. Я буду сидеть там, хорошо. Я буду в белом-белом платье. А мне можно заплакать?

– Раньше даже обычай был – невеста всегда плакала.

– Правда? А почему она плакала?

– Ну, прощалась с юностью. С родителями. С матерью. С беззаботной жизнью.

– Вот и я буду прощаться… Я заплачу – ты не обидишься? Не подумаешь, что я дура? Что я маленькая? Все меня считают глупой. Маленькой. И ты.

– Я? Нет. Ты взрослая. И умная. И я люблю тебя.

– Неужели ты в самом деле любишь меня?

– Ты сомневаешься?

– Ах, Петр, Петр… Не пойму я, никак не пойму, что это такое – любовь?.. Только молчи, не говори мне ничего… про родство там, еще про что-нибудь… не надо… Я не понимаю, не понимаю, что такое любовь!

– Поймешь.

– Ты думаешь?

– Уверен. Любовь от одного переливается в другого, от другого – в третьего. И так вечно. Вечная цепь любви.

– Ух ты, Петруша, матрос ты мой, поэт и философ, как ты красиво говоришь! Прямо заслушаться можно.

Он не обращал внимания на иронию и насмешливость тона, она просто оборонялась, хотя сама не знала – от чего. Какая-то преграда ощущалась в ней самой, внутри, которую она не могла преодолеть, и вот наступала на других… Или оборонялась? И то, и другое вместе.

– Может, хватит на сегодня шампанского? – осторожно спросил он.

– Шампанского? Конечно, хватит. Хотя нет. Почему бы нам не погулять сегодня? Ты что? Ты против?

– Я не против. Просто тебе плохо будет.

– А может, я хочу, чтобы мне плохо было? Хотя вру. Ничего мне не хочется. Ты можешь меня покатать на такси?

– Конечно.

– А почему ты меня редко приглашаешь к себе? Ты меня боишься, да?

Петр удивленно рассмеялся.

– Тебя? Боюсь? Да ты что, глупенькая!.. Просто неуютно там. Голо. Вот приедем в Мурманск, в мою родную однокомнатную… Вот там и заживем…

– Ты что, в самом деле уверен, что в Мурманске нам будет хорошо? А вдруг я задохнусь от тоски?

– От тоски люди задыхаются здесь. А там – никогда.

– Почему это?

– Да там жизнь, понимаешь? Некогда скучать и ныть. Жизнь и работа. Там совсем другое дело.

– Тебя послушать – там прямо рай небесный. На самом деле все так же, как здесь. Я уверена. И жизнь, и люди везде одинаковы. Планета-то одна – Земля.

– Что спорить? Приедем – посмотрим. Ты еще сама будешь смеяться над своей уверенностью.

Когда они сели в такси и помчались по вечерней Москве, Алену быстро укачало, и, склонившись на плечо Петра, она тихо задремала. Петр сидел не шелохнувшись, боясь неосторожным движением потревожить сон Алены. В эти секунды он испытывал к ней ни с чем не сравнимую нежность и готов был сделать для нее все что угодно, лишь бы была нужда в его жертвенности…

– Я хочу к тебе, – сквозь дрему пробормотала Алена, когда машину встряхнуло на одном из поворотов.

– Мы едем ко мне, – успокоил Петр.

И она опять спала на его плече, а он сидел не шевелясь, в неудобной для себя позе, только бы ей было хорошо и покойно.

Когда приехали, Алена первым делом пошла в ванную – ей и в самом деле стало плохо, как и предрекал Петр. Она долго лежала в горячей воде, иногда, правда, вставала, окатывала себя холодным, чуть не ледяным душем, а потом снова ныряла в кипяток – после душа ощущение от горячей воды было именно такое – кипяток. Лежала, полузакрыв глаза, почти дремала, грезилось что-то хорошее, южное, томно-жаркое… У Петра был прекрасный шведский шампунь (вообще нужно сказать, что разных туалетных мыл, шампуней, лосьонов, пахучих одеколонов и всевозможных кремов в ванной было больше чем достаточно), Алена долго, с наслаждением мыла голову шампунем, он пах нежной хвоей, а от него – вот странно – веяло даже прохладой. Алена ныряла с головой в ванну, раскрасневшаяся, распаренная, умиротворенная, потом выныривала, весело отфыркивалась, брала в руки изящный по форме – в виде индийского кувшина – флакон, поливала на голову густую искрящуюся зелень шампуня, и вскоре ее

тугое розовое тело скрывалось в пенистой изумрудной массе, а потом Алена опять ныряла в ванну, и опять отфыркивалась, и даже иногда смеялась тихим счастливым смехом…

Из ванной она вышла ослабевшая, с горящими розовостью щеками, в повязанной на голове голубой косынке; поверх рубашки надела длинный, до пола, махровый халат Петра – мягкий, удобный; закуталась в него, как в тогу, стояла перед Петром, улыбаясь.

– С легким паром! – сказал он и осторожно приобнял Алену.

– Спасибо.

– А я кофе сварил.

– Ох, лучше бы чаю… – Она в изнеможении опустилась на диван, прикрыла глаза; на лбу у нее и на подбородке поблескивали росинки влаги.

– У меня индийский есть. Сейчас вмиг заварим, – успокоил Петр.

– Не знаю почему, – сказала она, открыв глаза и улыбнувшись Петру, – но я чай люблю больше. Особенно после ванны. Хочется пить долго, много… Никуда не спешить, ни о чем не думать, просто сидеть, пить, наслаждаться…

– Сейчас, сейчас…

Петр вновь заколдовал на кухне над газовой плитой, а Алена, томным движением руки потянувшись к магнитофону, нажала на черную блестящую клавишу. Запел Элвис Пресли. Все пластинки, несметное число которых Петр подарил Алене, были у него переписаны на магнитофон, так что и здесь, у Петра, и там, дома, у Алены, звучала одна и та же музыка, Алене это нравилось, нравилось и Петру, – музыка была тем первым, о чем они заговорили тогда, три года назад, когда познакомились в парке культуры и отдыха.

Слушая музыку, наслаждаясь покоем, теплом и уютом глубокого мягкого дивана (о эти глубокие старинные диваны!), Алена пододвинула к себе телефон, набрала номер.

– Мама, добрый вечер. Ты одна?

– Нет, с папой. А что такое? Ты где?

– Я у Петра. Передай, пожалуйста, папе, сегодня я останусь здесь.

– Да, но…

– Понимаешь, я очень устала. Только что помылась в ванной. Не ехать же домой на ночь глядя. С мокрой головой. По всему городу…

– Конечно, конечно, но…

– У меня все хорошо. Не беспокойтесь.

– Алена, извини, с тобой хочет поговорить папа…

– Ну, что еще?

– Добрый вечер, дочка. Что случилось?

– Ничего не случилось. Мы ездили с Петром в «Прагу», смотрели зал, где будет наша свадьба. Потом заехали к нему. Я очень устала, помылась у Петра. Сижу вот мокрая, в халате, сейчас будем пить чай… Я останусь сегодня здесь.

– Конечно, конечно. О чем разговор. Правильно сделала, что позвонила.

– Ну, до свиданья, да? – спросила Алена.

– Как там Петр? Ты не можешь позвать его к телефону?

– Он занят, готовит на кухне ужин.

– Та-ак… Ну хорошо… Тогда передай Петру: я ему верю, как сыну.

– К чему такой высокий слог?

– Я тебя прошу – передай.

– Хорошо, передам.

– Вообще-то ты могла и домой приехать.

– Распаренная? С мокрой головой? Чтоб простыть и слечь?

– Можно было и дома помыться…

– Папа, в конце концов я выхожу замуж или готовлюсь в монастырь?

– Не груби, не груби отцу. Молода еще! Позови-ка лучше Петра.

– Говорю тебе, он занят.

– Та-ак… Ну что ж. Не забудь передать ему: я верю в него, как в сына.

– Передам. До свиданья!

Через некоторое время из кухни с подносом в руках вышел Петр. Легким парком дымился фарфоровый заварной чайник. На блюдцах с золотой каймой две тонкие, почти прозрачные, тоже фарфоровые чашки. Сахарница с витой дужкой. Серебряные ложечки. Тонко порезанный хлеб. Сочащиеся ломтики сервелата. Все изящно, со вкусом.

Поднос Петр поставил на круглый стол, который стоял перед диваном. И стол, и диван, и массивным платяной шкаф, и громоздкий неуклюжий буфет – все, конечно, дисгармонировало с изящной сервировкой подноса, однако в этом была и своя прелесть. Прелесть в смешении вкусов и стилей.

– Кому это ты звонила? – спросил Петр, ставя перед Аленой чашку с блюдцем.

– Родителям. Тебе, кстати, большой привет от них.

– Спасибо.

– Папа велел передать: он верит в тебя, как в сына.

– Еще раз спасибо.

Алена говорила несколько насмешливо, а Петр отвечал вполне серьезно.

– Между прочим, я сказала им, что сегодня остаюсь у тебя.

Петр внимательно посмотрел на Алену.

– Ты хочешь остаться у меня?

– А что, разве нельзя?

– Нет, почему? Конечно, можно, но… Ты ведь никогда раньше не оставалась.

– А сегодня останусь.

– Да, но Григорий Александрович… Людмила Ивановна…

– Григорий Александрович верит тебе, как сыну. Это тебя успокаивает?

– Не пойму: ты шутишь или серьезно?

– Господи, я устала. Я помылась. Я хочу чаю. Ну что еще нужно сделать, чтобы мне перестали задавать идиотские вопросы?

– Ну, хорошо, хорошо, не злись… Тебе покрепче?

– Да. Самого крепкого.

Когда он разливал чай, она воскликнула:

– Как вкусно пахнет! Какой аромат, Боже!

Петр улыбнулся.

– Знаешь, где я научился заваривать чай? В Индии.

– А-а, в той стране, где ты засматривался на женщин?

– Не засматривался. Любовался.

– Ну, это одно и то же! – Она погрозила ему пальцем. – Ох, Петруша, куда я ныряю, в какой омут… Смотри!

Отчего-то они оба рассмеялись, хотя ничего смешного, кажется, сказано не было.

Чай пили долго, с удовольствием, смакуя его терпкий вкус; при этом Петр каждый раз добавлял в чашку немного кипяченого молока – вкус чая получался ни с чем не сравнимый; не только вкус, но и запах, и цвет, и аромат – все было необычным, душистым, по-особенному сладостным.

Алена искренне блаженствовала.

– Знаешь, – говорила она, – когда ты будешь приходить из плаваний, ты мне всегда будешь заваривать такой чай.

– Хорошо. Всегда. Обещаю.

– Смотри! – И опять она грозила пальцем.

Вскоре, несмотря на круто заваренный чай, Алена начала клевать носом. Петру это показалось очень трогательным. Только что смеялась, столько чаю крепкого выпила – и надо же, засыпает прямо за столом.

– Ты пересядь вот сюда, на стул. А я пока на диване постелю…

Она кивнула; с полузакрытыми глазами пересела на стул, при этом толкнула стол, так что чашки едва не скатились на пол; если б Петр их вовремя не поддержал, быть бы фарфору мелкими осколками (изысканную эту посуду Петр всегда возил с собой)…

– Ложись.

Не раздеваясь, в халате, Алена юркнула под одеяло, натянула его до подбородка и, казалось, тотчас уснула.

Петр включил торшер, выключил большой свет и некоторое время просто сидел на стуле, смотрел на Алену, чуть-чуть улыбаясь краешками губ. Потом отнес посуду на кухню, осторожно, чтоб особенно не шуметь водой, помыл ее, разложил в сушке над мойкой. Не забыл взять тряпку, сходить в комнату и протереть стол. Что еще?

В коридоре, напротив входной двери, хозяева квартиры сделали когда-то небольшую антресоль. Среди многих вещей там хранилась и раскладушка. Умывшись, почистив на ночь зубы, Петр осторожно высвободил раскладушку из антресоли и, стараясь не скрипеть пружинами и не бряцать крючками, начал устанавливать раскладушку. Причем не в комнате, а на кухне.

– Ты что там? – пробормотала Алена.

– Спи, спи… – успокоил ее Петр.

– Ты хочешь на раскладушке? – Она приподнялась на диване.

– Да, да. Спи… – прошептал он, продолжая устраивать себе постель.

– Я так не хочу, – сказала Алена. – Я же приехала к тебе, а ты… Подойди ко мне.

Он какое-то время колебался, потом подошел.

– Сядь рядом, – сказала она.

Он сел. Она протянула к нему руку.

– Знаешь, я ничего не знаю… Я не понимаю ничего… Но почему ты не хочешь со мной? Наверное, это очень глупо со стороны…

– Но ведь мы еще…

– Если ты не будешь со мной, я тебя возненавижу. Ведь я осталась у тебя… Все решено…

– Алена, скоро свадьба. Зачем нам…

– Вот именно – скоро свадьба. Какая разница… Ведь ты же не сбежишь никуда?

– Ну что ты…

– Ну вот видишь.

– Но твои родители… Они верят мне.

– Как они узнают?

– Я так не могу. Ты потом поймешь все.

– В конце концов это просто оскорбительно…

– Глупая. Наоборот.

– Тогда я сейчас уеду. Да, да! Вызови мне такси. Я уеду!

– Ну к чему эти глупости…

– Да пойми ты! Я ничего не знаю в этих вещах… Но просто-то ты можешь побыть со мной? Мне страшно.

– Просто у нас не получится.

– Ты холодный, безжалостный индюк! Хоть бы пожалел меня. Сидишь тут… Мне страшно! Я что, не такая какая-нибудь?

– Ты лучше всех!

– Ты просто успокаиваешь меня.

– Зачем? Я люблю тебя! Ты самая лучшая. Самая любимая…

…Потом, когда она уснула, Петр долго лежал рядом, не в силах побороть в себе страшную тоску, которая нежданно-негаданно навалилась на него. Пять лет назад бросивший курить, он ощутил непереносимое жжение в груди, изнуряющую сухость во рту – так сильно хотелось закурить, какого-нибудь самосада бы сейчас, покрепче, хотя бы одну затяжку… Он не понимал, что с ним такое. А тоска давила и давила сердце, она была сродни ощущению, когда редко-редко, но все-таки наваливалась бездонная мысль: вот умру когда-нибудь – и меня никогда, никогда, никогда не будет… И когда мысль хотела пробраться в это «никогда», постичь его, охватить разом, вот тогда и обливалась душа сильнейшей, ни с чем не сравнимой тоской – дыхание схватывало… И вот сейчас опять… Но почему же сейчас?.. Он лежал, боясь сделать малейшее движение, чтобы не разбудить Алену, и в то же время все существо его было за тысячи миль отсюда, душа и мысли улетали далеко, и даль эта устрашала, напоминала бездну, в которую придется-таки провалиться, но как же так… почему… за что… и неужели никогда больше?.. Никогда!

Он ничего не понимал в себе.

И когда стало совсем невмоготу, он не встал, а как бы скатился с дивана, сделав полный оборот, спружинил на руках на коврик, который лежал у дивана, и, не просто боясь, а страшась, как бы Алена в самом деле не проснулась, тихотихо подкрался к стулу, где лежала его одежда, натянул брюки, майку, рубашку, а потом на цыпочках, босой прокрался на кухню. Там, в шкафу, в дальнем углу, среди прочих иностранных сигарет, он хранил на всякий случай обыкновенную пачку «Примы», которую не просто курил когда-то, а обожествлял. За крепость. За простоту. За то, что пробирала до самых печенок: уж жгла нутро, так жгла – без дураков.

Подержал пачку в руках. Распечатал. Достал сигарету. Сунул в рот. Ну что? Ну и черт с ним! Чиркнул спичкой…

И как только сделал первую затяжку, так сразу сделалось легче. Будто ком какой-то проскочил внутри.

Он прикрыл кухонную дверь и, с жадностью, глубоко затягиваясь, начал ходить по кухне из угла в угол. Если бы он мог увидеть себя со стороны, то заметил бы, как играли на его лице желваки. Такое происходило с ним всегда, когда он не мог понять себя, собственное состояние, – тоска и злость. Чего только не бывает с человеком, но самое странное – что очень часто он сам не в силах объяснить собственное состояние…

Ну, что с ним?

Петр скомкал сигарету, выбросил в ведро, закурил новую.

Такое же состояние, помнится, охватило его однажды на танкере. Вышли из Бомбея в открытые воды – сначала в Аравийское море, затем в Индийский океан… Тогда Петр очнулся среди ночи в каюте со странной тоской в груди, тоска давила, душила, даже дышалось трудно. До утренней вахты оставалось часа четыре, но Петр не мог больше спать, вышел из каюты в надежде сбросить с себя наваждение. Ночная гладь океана была устрашающа; горячие крупные звезды, перевернутый, опрокинутый ковш Большой Медведицы, ни шороха, ни всплеска на много миль вокруг, пустынность, кромешная тьма и дыхание бездонного, безграничного океана. Петру стало страшно, хотя он мало чего боялся в жизни, во всяком случае моря не боялся никогда.

Ему стало страшно не чего-то, а вообще страшно – почувствовал себя маленькой, затерянной песчинкой в безмерном море, в кромешной тьме, в бесконечности времени и пространства. Он вернулся в каюту, закрыл дверь на запор, хотя закрываться на танкере обычно не принято, – мало ли что может с каждым случиться, – закурил, как всегда, крепкую «Приму» и начал метаться по каюте, из угла в угол. Обостренным чутьем он как бы улавливал в воздухе какую-то тревожность, даже трагичность, которая в эти минуты совершается в жизни – в его

личной жизни, а не в жизни всеобщей, тоска не на шутку гнула его, корежила душу, но понять или осознать нельзя было ничего.

От тоски этой он в ту ночь чуть с ума не сошел.

И только позже, когда пришвартовались в родном Мурманске, он кое-что понял в своих муках.

В ту ночь, когда душила его тоска, – он высчитал это, – именно в ту ночь ушла от него жена. Она не просто ушла, а ушла к лучшему его другу – Коляне. И его, и ее он навсегда выжег из своей жизни, но что от этого изменилось? Предательство осталось предательством.

Неужели есть сила в мире, какая-то стихия в пространстве, которая пронзила огромное расстояние, втекла в жилы Петра, встряхнула его, навалилась тоской, подняла с кровати, заставила бродить по ночной палубе танкера, курить сигарету за сигаретой?!

Что это было такое? Что подняло его тогда, что толкнуло в те минуты в каюте?

Вот и теперь Петр мерил шагами кухню, дымил «Примой», играл желваками, и душила его похожая тоска. Но как же так? Откуда сейчас-то эта тоска? Отчего? Ну, тогда – ладно, было предательство, предали, растоптали, в самое сердце ударили, а теперь-то? Теперь-то в чем дело?

Петр ничего не понимал.

Может быть, сегодня, сейчас не кто-то иной, а он сам совершил предательство? Но какое? Алена его невеста, совсем скоро станет женой, он знал твердо – никогда не бросит ее, тем более теперь, когда она так наивно, хотя и достаточно настойчиво (он слегка улыбнулся) доверилась ему (вот странно-то!), – да разве он посмеет после этого сделать что-нибудь плохое по отношению к Алене?! Да никогда в жизни!

И тем не менее – тоска.

Такая тоска…

И что-то не то… Не то…

Он пытался разобраться в себе, определить первопричину, докопаться до сути… Ну да, конечно, была, была в нем мечта – заветная мечта! – хоть для одного человека в жизни оказаться святым! Он думал – всё и все погрязли в грехе, жизнь заполнена ложью, предательством, лицемерием, и ему хотелось хотя бы раз, хотя бы однажды в жизни оказаться для другого человека непорочным, чистым. Была у него жена, были женщины, но на Алену – за все три года знакомства – он никогда не посягал, не приставал к ней, если уж говорить на языке мужчин. И не потому, что она не нравилась ему, не потому, что не было желания, – и нравилась, и желание было, – но просто хотел хоть одного человека ни в чем не разочаровывать и ни в чем не разубеждать. Пусть она знает, что есть на белом свете и такие мужчины, как Петр, – честные и бескорыстные, есть правда, есть любовь, нежность, забота, многотерпение, и тогда наверняка она ответит ему тем же; воспитание – не в словах, а в поступках, в действии, и он знал, что пока не совершил ни одного неправильного шага по отношению к Алене, – разве это не зачтется ему? Не зачтется в будущей семейной жизни? Разве счастье – это не плод двоих? Разве это не усилие? Разве не кропотливая работа души?

Но откуда же тогда сегодняшняя тоска?

Отчего?

Ведь она такая же, точно такая, как тогда, на танкере… кромешная ночь, горячие звезды, устрашающее молчание океана… Какая была тогда тоска!

Неужто и сегодня свершилось какое-нибудь предательство?

Через два дня позвонил Алексей.

– Я уж думала, вдруг не позвонишь… – с некоторым упреком в голосе попеняла Алена. – Неужто ты такой занятый, что даже пять минут не можешь для меня выделить?

– Для тебя нужна вся жизнь. А что такое пять минут?

– Ой, не болтай! Знаю я тебя… Все-таки, ей-богу, ты не похож по разговору на простого сантехника из домоуправления.

– Сантехник – это для отвода глаз. Я же говорил тебе: по натуре я художник, в душе – артист, а в жизни – слесарь. Всего-навсего.

– Если бы ты знал, как мне хочется взглянуть на тебя. Хотя бы краешком глаза.

– Я же тебе говорил – приставать буду.

– Ну и что?

– Как что? – удивился Алексей. – Я знаешь какой горячий мужик? Меня можно в печь вместо дров класть – моментально вспыхиваю.

– Ой, испугал!..

– И вообще запомни – у нас с тобой роман телефонный. Я на тебе остроумие оттачиваю. Ум упражняю…

– Значит, я для тебя что-то вроде подопытного кролика?

– Что-то вроде.

– Да, вежливостью ты не отличаешься.

– Какой есть.

– Ну скажи хотя бы, выходить мне замуж?

– Выходить. Обязательно. Лично тебе – пора. А то ты вон как на незнакомых мужиков бросаешься.

– А зачем выходить?

– Станешь женщиной – поймешь.

– Ой, женщиной! Ну и что в этом хорошего? Я уже женщина – дальше что?

– Врешь ведь?

– Не-к. Если хочешь знать, я и женщиной-то стала из-за тебя.

– Ну, ты мне эти дела не шей, – строго, но шутливым тоном проговорил Алексей.

– Я серьезно.

– Слушай, ты потом и рожать станешь. Опять я виноват буду?

– Ты.

– Да ты что?! Ты эти фокусы брось, детка!

– А помнишь, ты мне говорил – у тебя принцип.

– У меня много принципов. О каком именно речь?

– Ты сказал: у меня принцип – с девушками не встречаться.

– Да, есть такой принцип.

– Ну вот. Я и решила: все равно скоро свадьба, бояться нечего. Я ночевала у жениха.

– Поздравляю. Но что из этого?

– Как что, глупый? Теперь ты можешь со мной встретиться.

– В каком смысле?

– В любом. Теперь ты можешь не бояться меня.

– Я тебя и так никогда не боялся.

– А ты говорил – боишься. Твои слова: «Не люблю я с вашим братом возиться. Это такая морока – не приведи Господь»?

– Слушай, ты как прокурор… Твои слова, ваши слова, наши слова… Ты их на магнитофон, что ли, записываешь?

– Да ты пойми, мне ничего не нужно от тебя. Просто хочу увидеть тебя. Посмотреть, какой ты.

– Нет, ты определенно с приветом. Я этого не учел. Да какой я? Как все. Как тысячи других.

– Нет, ты не такой. Я по голосу слышу. По словам угадываю. Ты ни на кого не похож. Ты необыкновенный!

– Тебя определенно заносит. Девочка, ты вбила себе в голову Бог знает что…

– Да чего ты боишься? Я невеста, скоро выйду замуж. Я из-за тебя вон на что решилась, а ты…

– Слушай, ваши дела – это ваши дела.

– Да уж, конечно. Я из-за тебя у жениха осталась, а ты сразу в кусты.

– Нет, абсурд какой-то!

– Я знаешь что поняла: все равно ему изменять буду. Уж тогда лучше сразу.

– Сколько тебе лет? Извини, забыл.

– Двадцать.

– И в двадцать лет такая философия?

– Да нет у меня никакой философии. Просто я не люблю его. Жениха своего.

– Ого, вот это что-то новенькое. Не любишь – а замуж выходишь. Зачем?

– Чтоб от родителей уехать подальше. Нотации их надоели, нравоучения. Все хочу поменять! Всю жизнь разом!

– Жених-то знает, что ты его не любишь?

– Для него главное – чтоб он любил. Он, знаешь, не от мира сего. Святой. Но мне с ним скучно. Ску-у-учно! Понимаешь?

– Да, в хорошенькие санки ты впрягаешься.

– А я решила так: не понравится – разведусь. Сейчас все так делают. Жизнь изменить никогда не поздно.

– Тут ты ошибаешься. Изменить ее никогда нельзя. Она неизменяема. Сделал что-то – все, проехали. Вернуться вспять нельзя. Отрезано. Жизнь – это драма единственных поступков, на века.

– Алеша, глупый… Как ты не поймешь – я хочу увидеть тебя. Я о-оче-ень хочу увидеть тебя.

– Как ты себе это представляешь? Ну, нашу встречу?

– Да как… Просто увидеться – и все.

– Ну, где – на улице, в метро, на вокзале, у памятника, под часами? Я, знаешь, что-то отвык последнее время по подворотням прятаться…

– Алеша, у меня есть идея.

– Так, померкни солнце, замри пространство!

– Мы можем встретиться у моего жениха.

– О Боже! Сколько раундов меня ожидает? Семнадцать? По три минуты каждый? Или, может, по пять?

– Каких раундов?

– Ну, он же бить меня будет. Твой жених. Учить жизни. Семнадцать раундов по три минуты – почти час сплошных ударов молотом. Кстати, я слесарь, а не профессиональный боксер.

– Но его же там не будет. Ты что?!

– Спасибо. Ты заблаговременно отравишь его ядом гюрзы.

– Зачем? Я просто скажу ему, чтоб он приехал сюда.

– Куда?

– К родителям. А сама поеду к нему. У меня есть ключи от его квартиры.

– Все, вербую тебя в свою систему. Из тебя выйдет отличный агент. Кстати, если жених неожиданно вернется, куда ты меня прятать будешь?

– Да он никогда не вернется. Если я ему скажу: жди меня дома – он будет ждать, что бы ни случилось. Он верит мне, понимаешь?

– И тебе не жаль его? Не жаль разрушать его веру?

– А что я такого делаю?

– Ну, конечно, в наше время обманывать мужчину – это просто хороший тон.

– Да ни в чем я его не обманываю. Просто встречусь – и все.

– И не боишься, что я буду приставать?

– Не боюсь. Чего мне теперь бояться?

– Да я же страшный как тигр. У меня вместо рук – когтистые лапы, а сзади хвост. Три метра длиной…

– Опять ты за свое. Я с тобой серьезно…

– Слушай, а ты не можешь устроить так, чтобы я сначала с женихом познакомился? А потом уж с тобой?

– Зачем он тебе? Чудак, право.

– Он мне нравится.

– Ой, не смеши!

– Честное слово. Я хочу дружить с ним. Я хочу быть ему самым верным другом. Псом собачьим. Я буду служить ему, так он мне нравится.

– А хочешь, я тебя на свадьбу приглашу?

– Инкогнито или в качестве почетного гостя?

– Да как хочешь.

– Видишь ли, если я стану другом твоего жениха, то тебе несдобровать. А если стану твоим другом – несдобровать ему.

– Это нечестно. Ты мой друг. Это я с тобой познакомилась, а не он.

– Ах, до чего же это милая штука – телефон. Хоть бы нашелся какой-нибудь поэт – пропел ему оду! Каких только тайн не слышали телефонные уши! Чего только не вынесли они со времени своего создания!

– Алеша, ну хватит языком трепаться… Ну правда…

– Ась?

– Встречаемся мы или нет?

– Будь Гамлет жив, он бы ответил: на этом свете – не ведаю, а уж на том – встретимся всенепременно.

– Давай послезавтра. Тебя устраивает?

– Погоди, птичка, не спеши. Дай подумать…

– Завтра я сама не могу. Мы едем с женихом кое-какие покупки делать. А послезавтра с обеда я свободна. На работе меня отпустят, не беспокойся…

– А если ты разочаруешься во мне? Ты меня бить будешь? – Алексей усмехнулся. – Бить гантелями жениха?

– Да нет у него никаких гантелей. У него все барахло в Мурманске.

– Где? В Мурманске? Да там же моя сестра живет!

– Знаю. Галя. Которая рожает детей. И ждет мужа-моряка на берегу.

– О, ты опасный человек, Алена! Тебя надо остерегаться. Ты все знаешь, все помнишь. Нет, определенно тебе надо работать в агентуре.

– Значит, так. Послезавтра во время обеда ты звонишь мне на работу. Договорились? Ключи у меня будут в кармане. Об остальном я позабочусь сама. Да, запиши мой рабочий телефон. Диктую…

– Записал.

– Ну что, пока тогда?

– Пока.

И, уже почти положив трубку, Алена на всякий случай прокричала:

– Так позвонишь? Точно?

– Позвоню.

– Ой, Алеша, смотри! Не позвонишь – я в людей перестану верить.

– Зачем такие глубоко идущие выводы?

– Ты меня целуешь?

– Целую.

– То-то же! – Она рассмеялась и с легким сердцем положила трубку на рычаг.

С Петром происходило что-то непонятное, он помрачнел, посерьезнел, при разговоре отводил глаза в сторону: тайная тоска точила его. Первой заметила это Людмила Ивановна, мать Алены, и не просто заметила, а как бы подвинулась душой к Петру, всегда испытывая к нему внутреннюю симпатию. Самое себя, истинную и правдивую, она часто прятала в тайниках души, давно поняв, что с таким мужем, как Георгий Александрович, невозможно жить в открытую. Чем больше откроешься ему, тем больше будет подавлять тебя. Мужу важно, чтобы человек, который живет рядом, мерил жизнь теми же мерками, что и он; в этом он видел назначение мужчины, мужа, главы семьи. Твердые, жесткие люди – они живут для себя. Для них не существует чужих правил. Мягкие люди (вроде Петра) – те дают жить другим. Мягкие люди (вроде самой Людмилы Ивановны) позволяют другим людям не только жить, но и садиться себе на шею. Вот в чем чувствовала Людмила Ивановна тайное родство с Петром. Вот отчего замечала перемены в его внутреннем состоянии. Вот почему он был ей дорог.

– А вы знаете, как я выходила замуж? – спросила Людмила Ивановна Петра.

В квартире они были одни, Григорий Александрович последние дни пропадал в спорткомитете (скоро соревнования, а он работал тренером по тяжелой атлетике), а Алена, естественно, была на работе в райздравотделе. После работы она велела Петру ждать ее дома, у родителей.

Петр вопросительно взглянул на Людмилу Ивановну.

– Совсем не так выходила, как однажды рассказывал Григорий Александрович. Помните?

Петр не очень хорошо помнил, но кивнул.

– Он как-то рассказывал: мол, собрались в студенческом общежитии, стрельнули шампанским, дешевая закуска, танцы под пластинки…

– Да, да, помню… – Петр и в самом деле вспомнил рассказ Григория Александровича.

– Дело-то все в том, что… только, Петр, дайте слово, что никому не расскажете о нашем разговоре.

– Да, конечно, конечно, Людмила Ивановна. О чем речь…

Людмила Ивановна рассказывать не торопилась. Накрыла на стол, заварила свежий чай, поставила домашний кекс.

– Кушайте, Петр.

– Спасибо.

Людмила Ивановна и сама села за стол; лицо ее вдруг показалось Петру обновленным: схлынула вечная усталость, озабоченность, померкшие обычно глаза налились светом, в котором проскальзывали искринки неожиданного озорства.

– А не хотите по рюмочке, Петр? Кагора. Слабенького дамского напитка.

– По рюмочке можно. – Петру и самому сделалось легче, свободней рядом с Людмилой Ивановной – впервые он видел ее такой раскованной, естественной. Он даже улыбнулся.

– Та-ак, погуляем сегодня. Сегодня такой день, сегодня можно…

– А что за день? – снова улыбнулся Петр.

– Ох, не спешите, Петр. Все по порядку…

К чаю Людмила Ивановна налила по рюмке кагора, они чокнулись.

– Ну, Петруша, поздравьте меня!

– Поздравляю… Только что у вас за праздник? Ей-богу, не пойму.

– Праздник? Молодость вспомнила, молодые годы, Петруша.

– А, ну, поздравляю вас, Людмила Ивановна!

Когда начали пить чай, Людмила Ивановна, несколько захмелевшая то ли от кагора, то ли от воспоминаний, с улыбкой призналась:

– Не просто молодость вспомнила я… Ведь день свадьбы у нас сегодня. С Григорием-то Александровичем.

– Как день свадьбы?! Простите, Людмила Ивановна, не знал.

– Не надо просить прощения, – мягко улыбнулась она. – Дело-то все в том, что мы никогда не отмечаем этот день.

– Почему? – удивился Петр.

– Да как вам сказать… – Людмила Ивановна задумалась на некоторое время. – Свадьба-то и радостью была, и горем, что ли… Ну, если не горем, так что-то вроде этого…

Петр не перебивал, слушал.

– Только, Петруша, вы дали слово: никому ничего… Особенно Алене. И особенно – Григорию Александровичу.

– Ну, конечно, конечно…

– Дело-то все в том, что в тот день я должна была выходить замуж не за Григория Александровича…

– А за кого же, простите?

– А за ученика Григория Александровича. Ивана Кошкина.

Петр ничего не понимал, но молчал, слушал. Удивила его только эта фамилия – Кошкин. Ведь и у Григория Александровича, и у Людмилы Ивановны, и у Алены была та же фамилия – Кошкины.

– Да, да, – кивнула на его догадку Людмила Ивановна, – он был однофамильцем. Причем любимчиком у Григория Александровича. Григорий-то Александрович, он не студент тогда был, он на десять лет старше меня, работал тренером в нашем институте (я ведь тоже Институт физкультуры окончила, легкой атлетикой занималась). А получилось как… Опоздал Иван на регистрацию. Банальная ситуация: на тридцать минут опоздал. И этого Григорию Александровичу вполне хватило.

– Как это?

– Он был свидетелем у нас. Ну как же, любимый тренер, любимые ученики. Я знала, он любил меня. А я… Мне они оба нравились – и Ваня, и Григорий Александрович. Но Ваня – молодой, сами понимаете, ровня. А Григорий Александрович – преподаватель, взрослый мужчина. Я его просто-напросто боялась…

– Ну и? – Отчего-то все в Петре напряглось от этого рассказа, замерло в душе.

– Ну, Григорий Александрович взял меня крепко вот так за руку, – она показала, как именно он взял – за запястье, – смотрит в глаза, мне даже страшно стало, и говорит так, что я чуть в обморок не падаю: «Люся, – говорит, – последний шанс у нас. Со мной ты будешь счастлива, с ним – нет. Он не боец. Он сойдет с помоста. Победителей не судят. Ну?!» И как закричит на меня! Я как во сне. Кивнула. Ивана нет. Когда Иван приехал, было уже поздно. Я расписалась с Кошкиным – только с другим, с Григорием Александровичем. Какая уж там свадьба после этого? Какое шампанское? Все отвернулись от нас…

И тонкая жгучая игла вонзилась в сердце Петра. Он ничего не говорил. Он слушал. Он во все глаза смотрел на Людмилу Ивановну и не мог поверить: да неужели? Не может быть… А Людмила Ивановна продолжала дальше:

– Всю жизнь потом Григорий Александрович боялся потерять меня. Он запер меня в клетке, отгородил от друзей. Запретил заниматься спортом. Только семья. Только дочь… И постепенно я превратилась в то самое, что вы видите перед собой. В женщину, о которой и подумать нельзя, что в молодости у нее были такие страсти… – Людмила Ивановна горько усмехнулась.

А Петр продолжал во все глаза смотреть на нее. Неужели опять? Неужели и здесь? Да что же это?!

– Не знаю, почему я вам рассказала все это сегодня… Впрочем, нет, знаю. – Она с грустью и с пониманием внимательно посмотрела Петру в глаза. – Дело в том, что я не хотела бы, чтобы в моей дочери, в Алене, повторилась моя жизнь. Конечно, вы совсем другой человек, не такой, как Григорий Александрович, вы мягкий, добрый, отзывчивый, но ради Бога, Петр, умоляю вас – никогда не притесняйте жену. Не запирайте ее в клетку. Не душите в ней живое, естественное, натуру. Жизнь в ней не душите, жизнь! Не надо…

Петр согласно кивнул, хотя мысли его шли совсем не в русле слов Людмилы Ивановны; на него снизошла как бы оторопь, недоумение: да что это, почему опять, зачем?!

– Я прожила немалую жизнь и должна признаться: жизни с Григорием Александровичем я не видела. Он подавил меня. Уничтожил. Растоптал во мне самостоятельность…

В это время раздался телефонный звонок, и, продолжая договаривать свою мысль – «… свободного человека» – Людмила Ивановна спросила:

– Да?

– Мам, это я. Привет. Петр у нас?

– Да. Мы сидим с ним чай пьем. Разговариваем.

– Передай ему, чтобы ждал меня и никуда не уходил. Что бы ни случилось – ждал и никуда не уходил.

– Хорошо, хорошо.

– Ну, пока! – Алена без всяких объяснений положила трубку.

Во время обеденного перерыва Алексей не позвонил. Не позвонил и через час. И через два часа. Выходит, Алена зря отпрашивалась у заведующей: ключ от квартиры Петра лежал в ее сумочке мертвым грузом.

– Что же ты не уходишь, Леночка? – поинтересовалась Нина Васильевна, взглянув на нее с некоторой насмешливостью, которую с трудом переносила Алена.

– Решила закончить срочное, а потом пойду, Нина Васильевна, – ответила Алена.

– Ну, ну, хорошо… – И заведующая вновь улыбнулась как бы ласково, но со скрытой усмешкой. И чего ей надо?

Наконец Алексей все-таки позвонил. Часа через три.

– Господи, я уж думала, ты провалился сквозь землю! – обрадованно затараторила Алена. Она так искренне обрадовалась звонку, что даже укорять Алексея была не в силах.

– Видишь ли, – сказал он, – раньше никак не мог. Дела.

– Ну, хорошо, хорошо. У меня все готово. Ключ в кармане. Где встречаемся?

– Тут такие дела, птичка. Сегодня я никак не могу. Уезжаю в командировку.

– Как так?! – с недоумением вырвалось у Алены.

– И вообще, понимаешь ли… я переезжаю. В другой город. Насовсем.

– Ой, не ври! Ты что? Так я тебе и поверила!

– Серьезно.

– Да врешь ты все!

– Ну, хорошо. Допустим, вру. Допустим, не уезжаю. Остаюсь здесь. Но в командировку-то я уезжаю точно.

– Но почему так срочно? Ты же говорил… Ты же обещал…

– Ничего я не обещал. И вообще, птичка, пора заканчивать наш телефонный роман. Побаловались – и хватит. Я устал…

– Но как же? Ведь я…

– Очень просто. Скажем друг другу: «Адью» – и повесим трубки.

– Но я люблю тебя.

– Не говори глупости.

– Я не могу жить без тебя. Послушай, я люблю тебя…
– Да ты просто сумасшедшая.
– Я люблю тебя. Я не могу без твоего голоса. Без твоих слов. Без тебя. Я люблю тебя…
– Ты ненормальная…
– Но я люблю тебя! Люблю!
– Все. Адью! – И он повесил трубку.

Через неделю должна была состояться свадьба.

Однажды и навсегда
Триптих

Глава первая

1. Жизнь Гаврилова

– Конечно, у нас не юг, – говорила Марья Степановна, наливая Саше кофе. – Но вы посмотрите! – Она кивнула на окно. – И лес рядом, и пруд, и пляж. И воздух прекрасный. А тишина… Нет, вы послушайте, какая тишина! – Марья Степановна мечтательно вздохнула. – Ну кто, скажите, поверит, что это Москва?

– Мама, как всегда, в своем репертуаре. Патриотка бесценных Кузьминок! – Ольга усмехнулась. – Доброе утро, – добавила она как бы между прочим.

– Доброе утро! – Гаврилов поднял на Ольгу искрящиеся озорством глаза. Она встретила его взгляд спокойно, словно и не было нечаянной встречи в ванной, когда он вдруг увидел ее обнаженной по пояс…

– Чем насмехаться, взяла бы да показала Саше парк. Вон молодежь… Все на пляж идут, загорать, купаться…

– Плесни-ка мне тоже кофе. – Ольга села на стул напротив Гаврилова и, как будто горько – или как? – улыбнувшись, сказала не столько матери, сколько Гаврилову: – Я бы, мам, с удовольствием… Разве не хочется? Не старуха еще… – Она вздохнула. – Но ты забыла… Сегодня к Володику ехать надо…

На пляж Гаврилов пошел один. Он давно не был на пляжах, давно не купался, не загорал, не отдыхал душою настолько, чтобы можно было все позабыть – дела, тревоги, заботы, и теперь со странным для себя удивлением обнаружил, что он-то давно, действительно давно не мог позволить себе настоящего отдыха, а другие – во-о-он их сколько: загорелые, сильные, ловкие, смеющиеся, – другие позволить себе такое могут… и, Боже мой, как их много! Впрочем, в удивлении Гаврилова не было и тени раздражения, одна лишь легкая зависть к тем, кто умеет в полную силу отдыхать, расслабляться…

Неподалеку от Гаврилова, но и как бы в стороне от всех остальных, лежала девушка; чем она привлекла его внимание, он не смог бы сразу ответить. В ней чувствовалась какая-то гордость, недоступность, которые свойственны расцветающей юности. И было в ней что-то такое, отчего вдруг странно-высоко отзовется в душе: жизнь прекрасна, жить хорошо… Конечно, Гаврилов не все время наблюдал за девушкой, хотя ему нравилось смотреть, как она томно, даже лениво переворачивалась с живота на спину или, наоборот, со спины на живот, или же как она сидела, опершись сзади на руки, царственно выставляя вперед то одну, то другую ногу, будто совершенно не видя никого вокруг, не признавая никого на свете, кроме себя одной. Когда же Гаврилов не наблюдал за ней, он или купался, или играл в волейбол в кругу отменных, веселых, загорелых парней и девчонок, один раз мяч «срезали» прямо в лицо Гаврилову, было больно, но он растерялся всего на секунду, потом рассмеялся громко и от души, и все вокруг смеялись, было весело, приятно, было чудесно… И еще он отвлекался от этой девушки потому, что на него все время поглядывала другая девушка; странно, но именно она-то и «срезала» мяч ему в лицо. Может, ей было неудобно перед ним? Смешно, конечно… Гаврилов один раз улыбнулся ей, и она тоже улыбнулась ему, и было в ее улыбке что-то настороженное, выжидающее… Ну вот тебе и на, подумал Гаврилов и усмехнулся про себя, не зная, как же расценить такую улыбку…

– Который час? – спросил кто-то у Гаврилова.

– Не знаю, нет часов, – показал Гаврилов на руку, но его никто не слушал: парень, который спрашивал, был уже далеко, бежал по пляжу с мячом в руках.

– А ничего, красиво, – сказал вслух Гаврилов. – Правда, красиво… – И подумал еще, что он, Александр Гаврилов, в самом деле не знает, который теперь час, и знать не хочет – настолько сейчас это все равно.

И вдруг он увидел, что к той, недоступной и гордой девушке подошел парень в сомбреро. Что-то парень спросил у девушки, а она нет, ничего не ответила. Гаврилов даже радостно ухмыльнулся. Так, значит, нет? – что-то вроде этого спросил парень, а она будто ответила ему без слов – нет. Парень присел на корточки, снял сомбреро, положил к ее ногам и опять что-то спросил. Она молчала. Разбежался, подумал Гаврилов, будет она с первым встречным разговаривать. А что если вот так? – опять что-то спросил парень и сделал непонятное движение руками. Девушка не отвечала. Давай, давай, отваливай, подумал Гаврилов. Ну, а вот так? – или вот это? – или как-нибудь еще? – спросил парень. Она усмехнулась. Усмехнулась? – удивился Гаврилов. Она усмехнулась, а парень начал что-то живо и горячо ей доказывать; или объяснять; или просить о чем-то. Потом он сказал ей что-то такое, от чего она, не сдержавшись, прыснула. Но уж после этого стала как каменная стена – что бы он ни говорил ей, она не слышала, или не хотела слышать, или вообще видеть его не хотела. Так что, парень, отваливать все равно придется, отвали, отвали, усмехнулся Гаврилов. И парень в самом деле вскоре поднялся и отошел от девушки. И когда он поднимался, Гаврилов не смог сдержать непроизвольной улыбки и даже как будто захотел поделиться своей радостью с другими, кто был на пляже, но никто не ответил на улыбку Гаврилова… Гаврилов почувствовал лишь один-разъединственный ответный взгляд: это был взгляд, конечно, той девушки, которая «срезала» мяч ему в лицо. И когда глаза их встретились, Гаврилов понял, что она видела все то, что видел и он, что она понимает все так же, как он, и что тоже радуется, но радуется как бы в зависимости от того, радуется ли он, Гаврилов. Чертовщина какая-то, подумал Гаврилов, встал и пошел к воде. Постоял, подумал, разбежался и нырнул в воду далеко и глубоко. А вынырнув, почувствовал: хорошо, очень хорошо сейчас, просто замечательно все – и вода, и солнце, и пляж, и весь белый свет, и вся жизнь человеческая…

Когда он вернулся к своему месту и в блаженной истоме лег на горячий песок, зажмурив от счастья и удовольствия глаза, и полежал так некоторое время, а потом открыл глаза, то увидел, что парень в сомбреро снова сидит рядом с девушкой и что девушка пьет лимонад из бумажного стаканчика, а в стаканчик из бутылки подливает лимонад парень. Казалось, они не могли насладиться нечаянными – нечаянными? – улыбнетесь вы – прикосновениями друг к другу, и все это шло, шло и катилось куда-то, катилось… Ему было семнадцать лет, не больше, и ей тоже семнадцать, наверняка не больше, – и что же это, если не любовь? Такая тоска взяла Гаврилова, что-то такое сильное и парализующее душу и волю, что внутри у него, как вихрь, пронеслась мысль-понимание сущности всего, что ни есть на белом свете – и жизни, и любви, и смерти. Это всегда такая мысль, от которой становится ни лучше, ни хуже, а просто страшно, – бывало это с вами? Если нет, поверьте Гаврилову, ибо это было именно так. А когда он еще раз взглянул на них, они, спрятав свои милые, свои детские мордашки под сомбреро, целовались, как если бы был уже вечер и они были где-нибудь одни в подъезде. Трудно на них было смотреть.

Гаврилов оделся и пошел прочь. Он уже входил в лес (ведь парк в Кузьминках – это сплошной лес), когда вдруг услышал:

– Можно, я пойду с вами?

Гаврилов оглянулся – рядом с ним с виноватой, дрожащей в уголках рта улыбкой стояла девушка.

– Это вы? – удивился Гаврилов.

Она кивнула.

– Вам странно, что я… Наверное, вы Бог знает что думаете обо мне. Но…

– Ничего я не думаю, – сказал Гаврилов. – Совершенно ничего не думаю, – повторил он.

Они пошли по лесу вместе и молчали, и оттого, что она не вызывала ни на какой разговор, он почувствовал, что ему с ней спокойно.

– У вас что, что-нибудь случилось? – спросил он.

– Ничего.

И опять они шли вместе, но по тому, как она сказала это «ничего», – как бы колеблясь, какой выбрать ответ, – он понял, что в этом «ничего» есть наверняка «нечто».

Какое-то время они так и шли, не знакомясь, потом он сказал, что его зовут Саша, Александр Гаврилов, а она сказала, что ее зовут Мила; ну вот и хорошо, сказал он. Они еще походили-походили, помолчали, а перед тем, как расстаться, она ему сказала:

– Мне у вас усы очень понравились.

– Что?! – поразился он и рассмеялся так, как давно уже не смеялся.

И вот именно потому, что она сказала ему такую сверхстранную и сверхнаивную вещь, он решил, что она, наверное, не простая девушка, а какая-нибудь необычная, поэтому перед самым расставанием сказал:

– Давайте встретимся вечером. Скажем, часов в семь. У кинотеатра «Высота».

– В семь не могу. В семь тридцать. Очень рада была познакомиться, – сказала она и убежала тут же.

Из всего, что произошло между этим расставанием и новой встречей с Милой, важным было одно, даже не столько важным, сколько нужным: то, что Гаврилов написал домой письмо. А то, что рассказала ему о себе Марья Степановна, существенным Гаврилову не показалось, – она рассказала ему о своей жизни. Двадцать пять лет она воспитывает дочку, и вот выросла дуреха, взяла и родила неизвестно от кого Володика, это одна сторона жизни; вторая в том, что муж Марьи Степановны, Сергей Иванович, как бы до сих пор жив, не погиб тогда, в сорок третьем, хотя погиб наверняка, это ясно, это очень ясно, даже страшно, как ясно. Но в том-то и дело, что ее любовь к нему неизбывна, даже поразительно неизбывна, и чем дольше его нет в живых, тем больше она не может согласиться в душе, что все ее чувства – ничто, тем более – страдания, а тем более – надежды.

– Понимаете, Саша? – спросила она, а он ответил как-то вскользь, не подумав:

– Понимаю, Марья Степановна, – на самом деле не то что не понимая, а даже и не прочувствовав до конца простоты и горечи ее рассказа.

С Милой они встретились минута в минуту, он подошел с одной стороны, она с другой, улыбнулись друг другу.

– Я вообще-то думала, вы пошутили. Так… сказали, ну и ладно…

Среди всех, кто гулял в этот вечер в парке, они, пожалуй, ничем не выделялись. Это у них началось позже – то, что выделило их среди остальных. Они пришли к пруду, была уже ночь, были звезды и луна, а посреди лунной дорожки на пруду лениво покачивался матово-красный буй.

Она сказала ему:

– Да ведь у меня нет с собой купальника, – когда он предложил ей: «Давай искупаемся?»

Он подумал немного и сказал:

– А ты так… ну, в трусиках и лифчике…

Теперь задумалась она, потом отошла к кустам, и в темноте он с глубоким волнением наблюдал, как она раздевается; что там раздевается – сбросила лишь платье и комбинацию, но ведь какая ночь была, какая странность и сказочность во всем…

– Я готова… – прошептала она из темноты. – Ты иди первый…

– Иду, – сказал он, скинул с себя одежду и ступил в воду; вода была необыкновенно теплая, – сладкая радость от всего, что сейчас происходит, так и пронзила Гаврилова.

– Господи… – прошептал он так тихо, что даже Мила ничего не слышала. – Господи… – повторил он и мягко, без единого всплеска подался вперед и поплыл, бесшумно работая руками. Сзади, услышал он, раздался негромкий всплеск, а потом было слышно даже Милино дыхание… Гаврилов подождал ее, и они поплыли вместе – к бую; а около буя он вдруг вспомнил, что они ведь еще ни разу не целовались с Милой, а хорошо было бы, если бы первый поцелуй случился на воде – это так ни на что не похоже!

– Мила, – сказал он.

– Ой, не надо, – испуганно вскрикнула она.

– Лучше спокойно, а то утонем, – рассмеялся он; смех его летел теперь над всем миром – такое было ощущение, что он живет в ночи сам по себе.

– Ой, правда, Саша, Сашенька, не надо… – взмолилась она.

Они плавали вокруг буя; она от него, смеясь, он за ней – тоже смеясь, но тут вдруг он изловчился, хотел было поцеловать, и они спокойно так пошли ко дну, испугались, вынырнули…

– Правда, еще утонем, – взмолилась она.

– Нет, – сказал он, – зачем тонуть, Мила! – продолжал он. – Мила!

Мила одной рукой взялась за буй, а второй делала осторожные гребки. Саша одной рукой тоже ухватился за буй, другой обнял Милу и только хотел было поцеловать ее в губы, как они опять пошли ко дну.

Когда они вынырнули, она сказала:

– Утонуть можно, а целоваться… целоваться может не получиться.

– А ты сделай вот так, – сказал он.

Она сделала так, как он попросил.

– А теперь вот так.

И так она тоже сделала, и теперь он ухитрился, обнял ее, поцеловал… ему хотелось целовать ее долго, такие у нее были хорошие, родные губы, но тут они опять, теперь уже в поцелуе пошли ко дну…

На этот раз, вынырнув, они уже знали, что нужно делать, и делали это много раз, целовались и целовались, и это было в первый раз в их жизни и для него, и для нее, когда так удивительно начиналась любовь…

К берегу они плыли он на спине и она на спине. В небе плыла вслед луна, и мерцали звезды на черном небе, и как-то не верилось, что все это правда, хотя бесценность проходящих мгновений была очевидна. Потом, когда они вышли из воды и оделись и когда пошли куда-то, не зная куда, они еще не догадывались, что больше теперь ничего нельзя, иначе дальше только прощание – вот их судьба. Они были теперь на противоположном берегу, где вообще не бывает в такое время ни единой души, стояли, целовались… ему было так приятно чувствовать, что при каждом поцелуе она левой ладонью нежно гладит его по спине, то есть почти даже и не гладит, а лишь слегка проводит пальцами…

– Мила, – спросил он. – Тебе… ты не стыдишься меня?

– Тебя? Нет, мне нисколечко не стыдно. Что ты, милый, мне хорошо…

– Знаешь, – сказал он, – давай еще раз искупаемся.

– Еще раз? – удивилась она.

– Нет… понимаешь… не так, как тогда… а совсем раздетые.

– Саша, – прошептала она. – Сашенька!..

– У меня еще такого никогда не было… ты пойми меня правильно… Это не для чего-нибудь там, а так… от счастья, что ли…

– Нет, – сказала она, – нет, нет.

– Ты не бойся, я не буду смотреть. Я первый зайду и поплыву. Я буду ждать тебя…

– Нет, нет, – повторяла она. – Нет.

– Я буду ждать тебя. Не бойся, глупенькая. Это будет хорошо. Очень. Вот увидишь. Ну послушай меня…

Он начал раздеваться, она отвернулась, прося его: «Не надо, не надо…», но он не слушал ее и не стеснялся ее; теперь, когда он вошел в воду, чувства были совсем не прежние, – тогда были радость и ликование, а теперь ощущение сопричастности чему-то такому, что превыше всего на свете. Гаврилов как бы перестал быть самим собой, растворился в безбрежности мира, одно лишь в нем было нетерпеливое желание, почти от страха того, что он такой маленький, незначительный, – желание, чтобы она поскорей тоже заходила в воду, чтобы разделила вместе с ним тайну того, что не-есть-ты. Тут была такая чистота, что никакие предрассудки не имели уже значения. Какие там предрассудки, когда ты рядом со всем миром, этот мир поглотил тебя, и ты подчинился ему, потому что не подчиниться ему – значит не любить его.

Он плыл и плыл, а она все не раздевалась, она сняла только платье, и все повторяла:

– Не могу… Сашенька, не надо. Не могу…

Он развернулся, подплыл к ней.

– Глупенькая. Хорошая моя. Ну иди же. Иди… Ну послушай… это такое что-то, не передать…

– Не могу… не могу. Ну не надо, нехорошо это… Я боюсь.

Он снова отплыл от нее, чтобы она не стеснялась, но она, пожалуй, и не стеснялась, ее сковал страх, она вся прямо дрожала.

И так было еще несколько раз – он подплывал к ней, просил, умолял, а она не слушалась, не могла преодолеть внутренний барьер. И наступил такой момент, что хуже не придумаешь – все оборвалось в нем, вся нежность и любовь к ней исчезли, как будто даже и не было никогда ничего. Он с удивлением для самого себя почувствовал, что девушка, которая беспрестанно повторяет на берегу: «Не могу. Не могу. Не надо…», безразлична ему до последней степени. Это было такое острое понимание и такая искренность чувства, что он даже забыл об элементарной вежливости: когда он оделся, то пошел прямо от нее, не сказав ни слова. Она подумала: он обиделся, а это была совсем не обида – куда там человеческой обиде до его чувства! А ведь шел он не совсем просто так, не без цели, шел туда, где метро, автобусы, троллейбусы – все то, что могло забрать ее у него, – вот так она теперь не нужна была ему.

Шли и молчали, и она ничего не понимала, только думала, что он совсем еще дурачок, обиделся на такую чепуху… Ну если так уж надо, она может все это сделать, может вернуться, но ведь это все глупости, глупости…

– Нет, – сказал он, – ничего не повторяется. Дважды не бывает такого.

– Какого?

А он-то думал, она умница. Боже мой…

И когда она поняла, что они идут туда, где придется прощаться, ей стало обидно до слез. Она знала, что ни в чем не виновата, мало ли что кому захочется… И думая так, она теперь испытывала к нему нечто очень близкое к ненависти.

Подошли к метро, и он сказал:

– Прощай.

Нужно было уходить, но ноги не слушались ее: да что же в самом деле он за человек, этот Саша? Разве можно так? Разве это справедливо? У нее задрожали губы, на глаза навернулись слезы.

– Прощай, – повторил он.

Она заплакала, но это были такие слезы, которые сдерживают и от которых внутри начинаются спазмы.

– Обидно? – спросил он.

Она кивнула, как маленькая девочка, и заплакала горше; она сказала:

– Ну разве так делают… Все вы одинаковые, все…

Он не стал ей говорить, что не в этом дело, потому что если она сразу этого не поняла, то потом этого уже не объяснить. Он не сказал ей, что вся поэзия в жизни – от женщины, но именно женщина и разрушает поэзию. Он не сказал ей ничего, кроме одного слова, когда повернулся и пошел прочь. Он сказал:

– Прощай.

2. Первое письмо Гаврилова

Здравствуйте, любимые мои Света и Аннуля!

Ну вот я уже и в Москве. Остановился у Сережи – правда, его самого нет, он уехал со студенческим стройотрядом в Новосибирскую область. Я, конечно, расстроился, думал уже сделать от ворот поворот, но Сережина хозяйка оказалась очень доброй женщиной, сама предложила мне остановиться у них: все равно Сережина комната пока пустует. Зовут хозяйку Марья Степановна, лет ей что-нибудь так 55 или 57. Все никак не нарадуется на Сережу, говорит, за полтора года, что он снимает у них комнату, ничего, кроме хорошего, от него не видели. И умница, и вежливый, и серьезный, и порядочный – в общем, не парень, а золото. Так что, Света, можешь гордиться своим племянником! Жаль только, что не повидаю его в этот раз…

Для Аннулиньки пока ничего не присмотрел – некогда. Весь погряз в производственных делах, сегодня вот только с утра немного отдохнул. Представляешь, Света, в министерстве и слышать ничего не хотят, посылают в ведомство. А в ведомстве тоже заколдованный круг: раз, мол, деньги уже отпущены на строительство цеха, этого пильгер-стана несчастного, их нужно осваивать, а чтобы сократить ассортимент выпускаемых труб, это при расширении-то производства, – да смешно, мол, и говорить! А что дело страдает, так это ничего. Нам пока не расширять нужно трубный цех, а отрабатывать технологию производства – и чем меньше пока будет ассортимент, тем легче освоить технологию до мельчайших деталей. В общем, дел здесь у меня по горло, хоть я и побаиваюсь, как бы командировка не оказалась напрасной.

Ну, как там Аннуля ведет себя? Ты, Света, наверное, балуешь ее сейчас, пока меня нет?

Пусть она спит в своей кроватке, ты ее хныканье не слушай. Ну, да вы у меня умницы обе, так что, думаю, все у вас хорошо. Колготки для Аннули я уже видел, но не купил – что-то цвет не понравился. Уж лучше я схожу в «Детский мир» и там спокойно подберу все, что ей нужно. Да, я совершенно случайно купил большого надувного зайца. У него уши, наверное, с саму Аннулю. Так что пусть ждет папин подарок.

Вот, наверное, и все пока. Крепко целую вас, родные мои. До свидания.

3. Из дневника Гаврилова

Порой кажется, что вся наша жизнь – игра в кошки-мышки, что, как бы ни старался заглянуть правде в глаза, как бы ни хотел быть глубоко искренним и честным хотя бы перед самим собой, все равно в последний момент улизнешь в сторону. Я помню, я много раз начинал писать дневник и всегда бросал эту затею, потому что без конца лгал даже самому себе. Ложь в дневнике унизительна, но разве она менее унизительна в самом человеке? Я знаю, это праведная мысль. Не отсюда ли происходит то страшное и дикое во мне ощущение, что я всем подлецам подлец, что я, может быть, самый страшный человек на свете. И в то же время знаю – никакой я не подлец, не страшный человек, даже и неплохой, наверное, человек. И тем не менее и то и другое во мне – есть самая большая правда, которую я, лишь я один, и могу о себе произнести. Ведь вот, например, почти все мне говорят, что я добрый, и это, наверное, так и

есть, по крайней мере – человек не злой. Но как же я бываю жесток! Особенно жесток с теми, кто, казалось бы, только что разделял со мной всю полноту восприятия мира как мира необыкновенного, как мира трагически-таинственного и потому привлекательного. Есть во мне такое – тоска, тоска, а потом вдруг найдет непонятная восторженность. А может, восторженность-то эта как раз от тоски и идет, как бы в противовес ей, что ли. Ну вот и с М. сегодня так получилось; а ведь она, если правду говорить, очень хорошая – уж по крайней мере в тысячу раз лучше меня. Уже потому хотя бы лучше, что для меня все то, что было, это ведь не одна поэзия была. Что вся поэзия – от женщины, и что женщина сама разрушает поэзию – это все слова, хотя это и правда; главное – здесь не только поэзия была, важно и то еще, что во мне было желание; но дело даже не в самом желании, а в потребности, чтобы она поверила в меня, подчинилась мне буквально как рабыня, чтобы не сомневалась во мне ни секунды – тогда-то и начинается высота ее власти надо мной. Ее – надо мной, а не моей – над ней. Ну, так какой же я человек после этого? Но это еще не все. Я страшно завистливый. И зависть моя – странная зависть: я завидую ни больше ни меньше, а всему миру. Сегодня, когда подумал про ту парочку, что у них милые детские мордашки, я ведь не совсем от души так подумал. Внешне – все это так, а если до конца заглянуть в себя, то получится вот что: я так завидовал этому парню в сомбреро, его молодости, уверенности, напористости, нахальству, что просто даже ненавидел его. Если бы она еще не позволила ничего, я бы успокоился, а то ведь они мне в самую душу плюнули, такое у меня ощущение. Это у меня, я знаю, отчего. Странно и дико, но порой я ревную всех ко всем; не только хочется, чтобы тебя любила какая-нибудь одна женщина и даже чтобы не только одна, две, три и больше, а чтобы все любили тебя. Мысль – дикая, согласен, но если она есть, то как с ней быть? Я нуждаюсь, как я догадываюсь, во всеобщей любви – а чем я ее заслужил? – что во мне есть такого особенного, чтобы я мог мечтать о ней? Ничего нет во мне, вся-то и особенность моя заключается в том, что я есть я, а особенность всех в том, что все есть все; так что мы как будто квиты, все как будто особенные, а тем не менее для меня это очень важное чувство – потребность во всеобщей любви. Я говорю здесь о любви как таковой, а не о примитивно плотской, разумеется. Согласен, здесь у меня есть странный нырок в сторону, но разве в самом деле не потому нам знакомо это чувство – потребность во всеобщей любви, что прежде всего нам знакомо другое чувство – потребность в высокой любви женской?

Глава вторая

4. Жизнь Гаврилова

Гаврилов спрятал дневник – вернулась домой Ольга и постучалась к нему в дверь.

– Гаврилов, вы не спите еще? – спросила она, входя в комнату.

– Нет.

– Не помешаю?

– Нет, ничего…

Она прошла к креслу («любимое Сережино кресло», – скажет она позже), присела на краешек, чиркнула спичкой.

– Боже мой, как я устала сегодня… – Она искусно выпустила тоненькую струйку дыма. – А вы не курите, Гаврилов?

– Нет.

– Бережете свое драгоценное здоровье?

– Берегу свое драгоценное здоровье.

Она рассмеялась.

– Да вы не обижайтесь, Гаврилов… Это я так просто, я ведь баба злая, но добрая…

– Интересно, – усмехнулся он.

– Очень даже, Гаврилов. А знаете, вы мне нравитесь, Гаврилов. Хотите знать, почему?

– Почему?

– Да потому, что я вас вижу насквозь.

– Вот как!

– Я ведь профессиональная машинистка. Вы, Гаврилов, только что, например, что-то писали. Во-первых, средний палец у вас в чернилах, а во-вторых, на пальце у вас мозоль. Письмо или дневник? Только честно.

– Разумеется, письмо.

– Ах, лжете, Гаврилов! Такие, как вы, по ночам дневники пишут. Смысл жизни – это то-то. Смерть – это то-то. Любовь – это еще что-то. А потом, как все смертные, вы умираете. И на этом все кончается.

– А ведь вы несчастная женщина, – сказал Гаврилов. – Так прямо и уничтожаете человека.

– А вы думаете, вы счастливый, Гаврилов? Меня не проведете…

– Так вы что хотите сказать, – улыбнулся Гаврилов, – что ищете союзника по несчастью?

– Нет, Гаврилов. Я просто хочу быть справедливой. Всего-навсего.

– Ну и разговор у нас получается, – сказал Гаврилов. – А и Б сидели на трубе, А упала, Б пропала…

– Кто остался на трубе? – подхватила она. – Это точно, это я завелась, натура такая… Вы не обижайтесь, Гаврилов.

Какое-то время они сидели молча.

– Ну как ваш сын? – спросил Гаврилов.

– Володик? – откликнулась она. – Вы искренне спрашиваете или так… лишь бы спросить?

– Искренне.

– Ну, как вам сказать… – медленно протянула она. – Говорят, на опухоль не похоже. Но в палату пока не пускают…

– Извините, я не знал, что это серьезно. Извините…

– Да нет, ничего. Говорят, все будет хорошо. Я верю, что будет хорошо. Я верю, верю. Я не могу иначе.

– Конечно, конечно.

– Гаврилов, – вдруг взмолилась она, – Гаврилов, миленький, пожалуйста, говорите что-нибудь, говорите…

– Оля, – сказал он, – Оля, все будет хорошо, обязательно хорошо, вот увидите… Ну не может быть иначе, не бывает никогда иначе…

– Бывает… – заплакала она.

– Нет – никогда – ни за что – не бывает! – Он говорил это с глубокой искренностью и убежденностью, но ей от его слов становилось не легче, а тяжелей.

– Бывает… – плакала она. – Вы обманываете, я знаю… Я знаю, что бывает. Я не хочу…

Гаврилов, может быть, впервые в жизни растерялся до такой степени, что не знал, что же теперь делать. Много он видел в жизни плачущих женщин, но чтобы плакали вот так, с таким безверием, с такой покорностью судьбе, – такое он видел впервые. Он как-то непроизвольно потянулся к ней, он понял, что перед ним ведь совсем маленькая, бедная, беззащитная девочка, хотя и взрослая женщина, то-то и страшно, что взрослые люди могут быть так беззащитны, словно они дети; и когда Гаврилов подошел к ней, то знал, что она ему теперь как дочь, присел на корточки и провел рукой по ее волосам, и еще раз, и еще, он гладил ее и повторял: «Не надо, не надо, маленькая, не надо, моя хорошая…», а она уткнулась лицом ему в плечо и горько-

горько плакала. Он отстранил ее лицо от себя, взял его в обе ладони и, прося: «Не надо, не надо…», начал целовать ее в глаза, в щеки, в губы, в лоб, в волосы…

– Миленький ты мой, – всхлипывала она, – не нужно так… не нужно… Ты хороший, ты добрый, я знаю… – А сама непроизвольно тоже потянулась к нему, обняла его за шею и стала отвечать на его поцелуи. – Господи, Сашенька, – говорила она, – ты не жалей меня, не жалей… Ты не знаешь, какая я дрянь… Я такая плохая, я ужасная… я дрянь…

– Нет, нет, – горячо протестовал он. – Это все глупости. Ты хорошая…

И тут она опять так горько, так тяжело заплакала.

– Сашенька, ты не знаешь… ведь сегодня утром, в ванной, я видела, что ты идешь… я нарочно не закрыла дверь… Я ужасная, вот видишь, я ужасная…

– Это все чепуха… Ну и что… Ну и мало ли…

– Мне так бывает плохо, что я сама над собой издеваюсь… сама и страдаю от этого, поверь…

– Я знаю, я верю…

И потом, когда она успокоилась, он сидел и смотрел, какие у нее теперь хорошие, повеселевшие глаза. Она говорила, а он слушал, а начала она с того, что коснулась ладонью кресла и сказала:

– Любимое Сережино кресло…

И он теперь понял многое из того, чего не понимал раньше.

– Я все удивляюсь, – говорила она с блуждающей улыбкой на губах, – как это никакая девчонка не влюбится в вашего Сережу. Можно полюбить его за одни глаза – они у него такие ясные, честные. Вот, например, у вас, Саша, глаза грустные, глубокие – значит, человек вы чувствительный, добрый. А от Сережиных глаз исходит спокойствие, уверенность – это от настоящего, большого ума. Я даже и не думала никогда раньше, что могут быть такие люди – ты для них почти ничего не значишь, а они значат для тебя все. И просто видеть этого человека, а больше ничего не надо. Он сидит в кресле, читает, читает, все учится, а ты сидишь и смотришь – и такой у тебя внутри свет, так отчетливо ты понимаешь, что весь мир сейчас – здесь, в нем, с ним, нигде больше. Я бывала, конечно, близка с мужчинами, от одного даже родила сына, но почему-то ни к кому не испытывала тех чувств, что к нему. Почему это, почему? Не знаете. А вот я знаю. Потому что он настоящий человек. Он не будет прикидываться ни добрым, ни влюбленным, ни страдающим, ни слабым, ни умным, ни образованным. Он всегда будет настоящим, всегда самим собой. И поэтому полюбить серьезно можно только настоящего человека. Только поздно я это поняла, он ведь еще мальчик, а я уже старуха. Улыбаетесь? Улыбайтесь, улыбайтесь, я ведь серьезно… Я и не знала, Саша, что вы такой несерьезный, честное слово – несерьезный человек.

А когда она ушла и Гаврилов остался один, он еще долго лежал и думал, что, в сущности, что бы ни писал он в своем дневнике, все равно не может ответить ни на один вопрос, потому что не знает, в чем суть вопросов. Что нужно познать в этом мире? Какую такую мысль нужно понять, чтобы обрести ясно-спокойное отношение к тому, что есть твоя жизнь? Ведь на множество вопросов ответов попросту не существует. В таком случае, может быть, следует делать так, как он сделал только что, – помогать человеку не задумываясь, ради единственного смысла: обрести главное – оправдание собственного существования. Пожалуй, если подумать, это так и есть и это перекликается с мыслью о потребности во всеобщей любви, да, это так… Но есть в этом какая-то неувязка. Какая? А та, что эта мысль в нем – от трезвого размышления, а не из глубины души, это не потребность его, не сущность, а лишь холодное понимание. Значит, помогать? Но чтобы помочь, надо понять. А разве стремился он, например, понять хотя бы Милу? Он стремился к тому, чтобы она поняла его. Но ведь он почувствовал тогда, что странность в ней имела определенную причину – что-то у нее произошло, а что – он так и не узнал, а главное – не почувствовал в себе потребности узнать это. Так чего же в самом деле

стоят все его правильные мысли, если они ничего в жизни не объясняют. Ложь, ложь… думал он, засыпая. И кстати, подумал он еще, вот Ольга сказала мне, что видела, как я иду в ванную, а ведь я-то не признался ей, что тоже видел, что она была в ванной… видел, а все-таки шел… не признался, не смог этого сделать…

Утром, когда Гаврилов собирался на работу, он почувствовал, что Марья Степановна как-то странно посматривает на него. Даже не так, не посматривает, а наоборот – избегает встречаться с ним взглядом. И, может быть, Марья Степановна так ничего и не сказала бы Гаврилову, не уйди Ольга на работу немного раньше его. Уже закрывая за Гавриловым дверь, Марья Степановна, замявшись, сказала ему сбивчиво:

– Вы извините, Саша, что я… вы, может, думаете, что я… но я ведь не спала…

– Не спали? – не понял Гаврилов.

– Я знаю, конечно, Ольга ветреная девчонка… Но, пожалуйста, умоляю вас, не обижайте ее. Пожалуйста…

– Почему вы думаете, что я собираюсь обижать ее? – удивился Гаврилов искренне.

– Саша, вы думаете, я спала… Я слышала, как она плакала в вашей комнате… Понимаете, я не спала…

– Бог ты мой! – обрадованно воскликнул Гаврилов. – Да это она из-за Володика, понимаете? Никакая она у вас не ветреная, хорошая. Настоящая и хорошая.

– Ну все равно, я вас прошу, пожалуйста… Прошу вас, Саша…

Гаврилов улыбнулся.

– Марья Степановна, да что вы, да успокойтесь… Никогда я не обижу ее, провалиться мне на этом месте, если не так. Вы неправильно все поняли…

– Ну вот и хорошо, – облегченно сказала Марья Степановна, – вот и хорошо… – И закрыла за Гавриловым дверь.

Весь день Гаврилов ходил и ругался из-за пильгер-стана, после работы пробежал магазины на Новом Арбате, потом на почте написал письмо домой. Выйдя из здания почтамта, Гаврилов на другой стороне проспекта увидел пивной бар «Жигули» и решил зайти выпить кружку-другую пива. Он сидел в баре рядом с тремя молодыми ребятами, потом они встали, сказали Гаврилову «О'кей» – и в это время он увидел, что в бар вошла девушка лет шестнадцати-семнадцати; а заметил он ее потому, во-первых, что с его места было видно всех входящих, во-вторых, она была одна, а это странно видеть в пивном баре, и, в-третьих, потому еще, что она, как только вошла, сразу же посмотрела на стол, за которым сидел Гаврилов, и когда увидела Гаврилова, удивление так прямо и скользнуло по ее лицу – словно она давным-давно знала Гаврилова, потеряла его, а теперь, увидев его, даже вроде не верит, что это действительно он. Она и в самом деле, как будто ее сила какая-то вела, прямо пошла к столику Гаврилова, на другие столики даже не взглянув, так они были ей безразличны, подошла, сказала Гаврилову: «Здравствуйте». Гаврилов молча кивнул, она спросила:

– Здесь не занято? Можно с вами?

– Пожалуйста, – сказал Гаврилов. – Все три места свободные.

Она села напротив Гаврилова и официанту, когда он подошел, заказала три кружки пива, так что Гаврилов даже присвистнул про себя. Но себе она взяла только одну кружку и сделала всего несколько глотков, а две другие поставила по сторонам, как бы давая понять всем, кто подходил к столику насчет свободных мест, что все места заняты. Интересно, подумал Гаврилов.

– Вы еще кого-нибудь ждете? – спросил Гаврилов; ему было легко это спросить, потому что девушка часто посматривала на него, словно даже прося его заговорить с ней.

– Да, – ответила она охотно. – Должна еще подруга прийти.

– А третье место для кого?

– Это так, чисто символически, – поспешно ответила она. – Для одного человека.

– Понятно.

– Скажите, а вы как сюда попали, совершенно-совершенно случайно? – спросила она.

– Ну как то есть случайно? – задумался Гаврилов. – Зашел выпить пива, вот и все.

– А вы верите в случайность?

– Да все на свете случайно, вера здесь ни при чем.

– Нет, вы не понимаете, – сказала она. – Вот вы могли прийти сюда и сесть совсем не за этот столик, а это очень важно, что вы сидите сейчас именно за этим столиком.

– Для вас? – улыбнулся он. – Для вас важно?

– Да, для меня важно и вообще важно.

– Сколько вам лет? – спросил он. – Семнадцать?

– Семнадцатый, – сказала она. – Вы думаете, я говорю глупости, потому что я маленькая?

– Нет, я о другом думаю. Просто завидую вам. С такой искренностью верить, будто очень важно, что я сижу именно здесь. Нет, я просто завидую вам, честное слово, – улыбнулся он.

– Не завидуйте… Разве вы знаете мою жизнь?

– Да уж представляю, какая она сложная, – улыбнулся Гаврилов снисходительно. – Мама ругает, папа ругает… Как хоть вас зовут? – спросил он.

– Маша, – ответила она.

– Маша, – удивился он. – Редкое сейчас имя. Даже очень редкое… Ну, а где же, Маша, ваша подруга?

– В том-то и дело, – сказала Маша. – Вы думаете, мне удобно было идти сюда одной? Мы с ней договорились, что она обязательно придет, я ее около часа прождала – а ее нет. Но я уверена, она подойдет. Она никогда меня не обманывает.

– Ну раз никогда, значит, придет.

– А можно спросить, как вас зовут?

– Александр Иванович, – сказал он.

– Вы меня будете называть Маша, а я вас Александр, хорошо?

– Значит, я для вас не Иванович еще? – спросил Гаврилов. – Вот на этом спасибо. – Он искренне рассмеялся.

Они еще сидели-сидели, а подруги все не было, они решили уйти вместе, но перед тем как встать из-за стола, она взяла одну из кружек, которые стояли по сторонам, и сделала два глотка; она из своей-то кружки больше половины не выпила, а все-таки эти два глотка сделала; Гаврилов усмехнулся по-доброму: уж эти ему зеленые символисты, теоретики случайностей…

Но потом все было хорошо, то есть никаких детских глупостей она не говорила, а шла сосредоточенная, даже скорбная какая-то. Они поднялись вверх по Тверскому бульвару, а дальше через Пушкинскую площадь шли вниз по Петровке. Был уже вечер, светили фарами разноцветные машины, горели фонари.

– Знаете, – сказала она, – я не хочу с вами расставаться. Только я это серьезно говорю. Я не хочу, чтобы вы бросили меня.

– Расставаться, Маша, – это одно, а бросать – совсем другое.

– Опять вы не понимаете… Ой, пожалуйста, посмотрите вот так, вот так, да, да… – Она развернула своими пальчиками его подбородок чуть в сторону и вверх. – Даже не верится… – сказала она. – Ну надо же… Александр, скажите, можно мне вас в гости пригласить?

– В гости?

– Понимаете, не вообще, а прямо сейчас. Сию минуту.

– А мама с папой? – назидательно улыбнулся он.

– При чем здесь мама с папой! – сказала она. – Кстати, они сейчас на даче. Я живу здесь совсем рядом, на Ногина…

Они пришли к ней на квартиру, заставленную тяжелой, дорогой старинной мебелью. Но в ее комнате Гаврилова удивила простота обстановки: шкаф, тахта, стол, несколько стульев.

Магнитофон, настольная лампа, книги и большой портрет мчащегося на огромной скорости мотоциклиста.

– Вот так я и живу, – сказала она. – Пригласите меня танцевать. – Она включила магнитофон, повернулась к нему и смотрела на него требовательными, взрослыми глазами.

Они танцевали, она все так же смотрела на него, потом спросила:

– Почему вы не целуете меня? Поцелуйте меня.

– Милая девочка, – усмехнулся Гаврилов. – Ты не даешь мне времени хотя бы прийти в себя.

– Трусите?

– Это что, любовь с первого взгляда? – продолжал усмехаться Гаврилов. – Или с тобой что-то случилось?

– Не бросайте меня, я вас только об этом прошу. Поцелуйте меня.

– А в кого же ты влюбилась?

– В вас. Поцелуйте меня.

Гаврилов послушался, но тут же отстранился от нее: она дрожала, как дрожит в руке пойманная птица.

– Вот что, – сказал он, когда мелодия смолка и он сел на тахту, – даже если ты влюбилась, то влюбилась совсем не в того человека. Что ты смыслишь в жизни, глупышка? И вообще, что с тобой происходит? Хочется поскорей взрослой стать?

– Вот видите, – сказала она, – вот и плохо, что вы не верите в случайности. А для меня важней случайности нет ничего на свете. Я вам кажусь глупой, а я совсем не глупая. И не маленькая. Вам кажется, вы что-то пережили в жизни, а может, вы пережили в десять раз меньше моего? Не перебивайте, я ведь знаю, что говорю… У меня был знакомый один мальчик. Звали его, – она сделала паузу и вздохнула, – его звали Миша. Он был отчаянный хулиган, – улыбнулась она, – он никогда никого и ничего не боялся. Уж будьте спокойны, с ним всегда как за каменной стеной. Но любил Миша не только драться, еще он любил мотоцикл. Фанатик был. Гонки, гонки и гонки на уме. Он и меня любил, но я это поздно поняла. Он меня сажал на заднее сиденье и увозил куда-нибудь далеко, несся как бешеный. Привезет, а там поле или речка, или лес, или луг в ромашках… Он все умолял меня, он все просил меня, он клялся в любви, а я, дура, ни разу, никогда ни в чем ему не уступила. Я думала, мне всего пятнадцать лет, страшно было – а разве это важно, сколько лет, если это любовь? Он любил ходить в «Жигули», пить пиво, часто меня брал с собой и все время твердил одно: Машка и мотоцикл, мотоцикл и Машка, ты да он, он да ты, только и было у него на языке, – она опять улыбнулась. – Он говорил: я стану чемпионом мира, и тогда ты полюбишь меня. Я буду самый отчаянный чемпион мира, а прежнему чемпиону набью морду, – улыбнулась она, вспоминая, – я ему скажу: «Эй ты, фрайер, ты, что ли, был до меня чемпионом?» – и если он промолчит, его счастье, а скажет слово – возьму глаз на анализ! Знаете, он дурачок, конечно, был, но разве это имеет значение, если он самый лучший на свете?.. И вот однажды он посадил меня на свою «Яву» и погнал, погнал… ветер… такой ветер был в тот вечер! А за Москвой, на тридцатом километре, нелепая случайность – из-за поворота откуда-то КрАЗ; мне – хоть бы хны, а Миша насмерть. Он как сидел за рулем, так и остался сидеть, а меня отбросило в сторону метров на пять… Это было, – сказала она с дрожью в голосе, – ровно год назад, триста шестьдесят пять дней назад… – Она помолчала, и Гаврилов тоже молчал. – И вот сегодня я пошла в «Жигули»… Знаете, я живу как в спячке какой-то, ничто не мило, ничего не надо… Я училась как будто в этом году, а как училась – не пойму. Не пойму, как школу окончила… Было ли это? И со мной ли? Не знаю. Не чувствую. Я, знаете, хожу вот в этих брюках и в этой кофточке все время – ничего больше не надо, не в смысле нарядов – а в принципе: зачем что-то еще? к чему? С мамой у нас война, то есть воюет она, а я молчу… Бедная, несчастная мама! Разве может она понять меня? Ей с высоты опыта кажется, что все в жизни проходит, любое горе, все имеет свое начало и свой

конец, а кроме того, как и вы, она думает, я еще маленькая, глупая… Даже если и так – я все равно страдаю, я страдаю сию минуту – разве чей-то опыт может здесь помочь? И вот сегодня я пошла в «Жигули», я пришла и увидела вас… Вы не верите в случайности, но почему же эти случайности всегда у меня на пути? Вы знаете, я вам вот что скажу… Я когда зашла, даже не поверила, что это правда, что вижу… издалека, понимаете – особенно издалека, вы очень похожи на Мишу, ну он только помоложе был, конечно… У него, как и у вас, были усы, вот такие же точно, английские, он их называл «масташез», это по – английски, кажется…

Гаврилов, когда Маша сказала про усы, даже вздрогнул как-то внутренне. Вот оно что – пронеслась в нем догадка, совершенно безотносительно к этому рассказу, – вот, наверное, почему так странно сказала ему Мила: «Мне у вас усы очень понравились»! А он-то засмеялся тогда, а ведь вся странность ее и вся непосредственность были, видимо, от этого – он кого-то тоже близкого напомнил ей. Так или не так? Черт бы побрал эти усы, – всем он кого-то напоминает, ну а сам-то – где он? – в чем он? – кто о нем, о Саше Гаврилове как таковом вспомнит? А еще хуже, он прошел мимо Милы, не понял ее и не старался понять.

– Ну ладно, положим, вы похожи на Мишу, бывает, что люди похожи… Но самое удивительное, вы сидели за тем же столиком, где любил сидеть Миша… и главное, как раз в тот день и час, когда пришла туда я. Ну как после этого не верить в случайности? И я сегодня поняла все, я сегодня поняла и решилась… Не оставляйте только меня, не бросайте, пожалуйста, не бросайте… Ну что для вас сделать? Поцеловать вас? Что? Ну что хотите, то и сделаю, только не бросайте меня…

– Да что ты, что ты… – забормотал Гаврилов.

– Ну почему же вы тогда не целуете меня? Ну целуйте же меня. Ну любите же меня! Ведь я не могу больше так жить, не хочу я больше так жить. Слышите, целуйте меня! Ну я же вам говорю! Что вы на меня так смотрите?.. А-а, да вы, наверное, брезгуете мной? Брезгуете, да?

– Глупенькая, – сказал Гаврилов. – При чем здесь это. Ты просто побудь со мной, поговори, тебе легче станет…

– Не хочу я никаких этих слюней… Слышите, что я вам говорю? Вы слышите меня или нет?

– Маша, глупенькая, – сказал он, – да разве так можно? Ну что ты, в самом деле, успокойся…

– А-а, да вы просто трус! – вдруг как будто даже радостно воскликнула она. – Вы же трус, трус! Да, да! Ведь вам ничего это не стоит, а вы боитесь… Чего вам бояться? Я же сама, сама этого хочу, понимаете?

– Это с отчаяния, ты погоди… – сказал Гаврилов. – Ты успокойся… Ты же ненавидеть потом меня будешь. И себя тоже…

– Вот оно что… Вот оно, значит, как… Ах ты, трус несчастный, ах ты, трус…

– Да ты просто не в себе сейчас, – сказал он.

– А ну проваливай давай отсюда! Благодетель! А ну давай катись отсюда!.. – Она вышла в коридор и распахнула дверь квартиры.

– Дура, – сказал он и поднялся с тахты. – Сама же потом благодарить будешь. Скажешь…

– Даже и вспомнить ни разу не вспомню. И забудь раз и навсегда, что я тебе тут рассказывала. Не для такого рассказывала…

– Ну и ладно, – сказал он. – Ладно. До свиданья. – И вышел из квартиры.

А она, прежде чем захлопнуть дверь, сказала ему с презрением:

– Пока, учитель! – а после того, как дверь захлопнулась, он услышал, как она зарыдала.

5. Второе письмо Гаврилова

Милые мои Света и Аннуля, здравствуйте!

Пишу вам прямо на почте. Только что ходил по магазинам, сделал довольно много покупок; хорошо еще, портфель со мной, а то и не знал бы, куда все сложить. Колготки Аннуле купил всех расцветок – очень правятся.

Купил ей теплый пижамный костюмчик – брючки и рубашку; ночью она у нас всегда скидывает одеяло, ну а в пижамке ей будет тепло, правда? Чешки в Москве только темные, но одну пару я все-таки купил – в чем-то же нужно Аннуле ходить в садик? Цвет бордовый. Купил ей очень приятный выходной костюм-матроску, главное цвет – под бирюзу, нарядный такой, радует глаз. А самое главное, Света, знаешь, что купил? Валенки. Они не простые, а сделаны сразу на прорезиненной подошве, так что весной или когда сыро, совсем не нужны галоши; здесь в Москве такие валенки нарасхват, не успел в очередь встать – а они уже кончаются.

Общие мои дела неважные; сегодня опять был в министерстве, но меня никто не слушает. Я теперь сам понимаю, что надо было этот вопрос поднимать раньше – когда только начинался разговор о строительстве пильгер-стана. Но ведь все равно нужно как-то решать проблему, просто так от нее не отмахнешься. У нас тридцатки, даже двадцатки толком еще не освоены, технология не налажена, а что будет, если трубы пойдут большего диаметра? Да и людей пока нет для пильгер-стана. Но пока на все эти вопросы один ответ: поезжайте домой и не морочьте нам голову. Мы, мол, еще разберемся, кто это вас в командировку послал, нужно работать, а они посылают людей баклуши бить в Москве.

Так что может случиться, что вместо недели-двух я пробуду здесь еще несколько дней, а там и домой. Тут мне намекнули, что я могу хоть завтра уезжать, но я еще повоюю. Они, конечно, правы, но и мы тоже правы. Вот и буду на этом стоять.

Да, Света, совсем забыл. Тебе я купил пеньюар, нежного розового цвета. Представляю, какая ты в нем будешь красивая.

Ну, а как Аннуля? Слушается? Смотри, накажи ей, слушаться не будет, папка зайца не привезет, а подарит его какой-нибудь хорошей и послушной девочке в Москве.

Вот и все на сегодня. Не забыть бы еще тушенки перед отъездом купить. Целую вас, дорогие мои. До свиданья.

6. Из дневника Гаврилова

Опять, в который уже раз, задумался о границах верности. Что это такое было у М. – предательство Миши, которому она верна, или же наоборот – сверхверность тому, кого она хотела предать? И чувствую, у женщин все это происходит как-то по-особенному, всегда странно, и всегда, видимо, это что-то такое глубокое, что вряд ли они сами понимают, из какой глубины исходит их поступок. Меня всегда мучил вопрос, почему у мужчины и женщины отношение к измене не то что совершенно противоположное, но не имеет никаких точек соприкосновения. Например, сам я не один раз изменял своей жене; не скажу, что мне приятно вспоминать об этом или, наоборот, что меня мучают угрызения совести. Я скажу так: мне это совершенно безразлично, то есть мои измены, по существу, не имеют никакого отношения к тому, что я чувствую к своей жене. Мужчина устроен так, что, изменяя любимой женщине, ухитряется в то же время остаться ей совершенно верным – а происходит это потому, что в действительности он другой женщине не посвящает самого себя ни единой капли, не отдает ей целиком своего «я», не разменивает с ней свою сокровенность. И это сокровенное настолько для него цельно, что по-настоящему оно принадлежит лишь одной женщине, одной любимой, одной жене. Сокровенность мужчины, его тайна, принадлежит всегда одному человеку, может быть, даже только самому себе, это аксиома; я думаю, загляни в себя глубоко и откровенно любой мужчина, он скажет примерно то же самое – и может даже при этом сам удивится, как это он, изменив жене не однажды, не изменил ей ни разу.

Но тот же мужчина, который так легко, казалось бы, относится к собственным изменам, психологически не может пережить, если жена изменила ему самому. Невольно задаешь вопрос: только ли здесь мужской эгоизм, только ли здесь раненое самолюбие? И вполне ли в этом смысле равноценны мужчина и женщина? Всякий раз, отдаваясь мужчине, женщина, хочет она этого или нет, теряет хотя бы частичку своей сокровенности, своей тайны, а дарить тайну с безразличием невозможно. Женщине, которая верна своему мужу, психологически во много и много раз тяжелей пойти на измену, чем мужчине, тоже верному своей любви. И хотя всеми это не понимается именно так, но именно так всеми предчувствуется. Сплошь и рядом, когда женщина прощает мужа, а муж почти никогда не прощает, а если и прощает, то никогда не забывает. Это для него – кровоточащая рана. И если женщина изменила, знай: что-то случилось, что-то не так, что-то плохо, в чем-то ты виноват…

Но с М., конечно, случай вообще из ряда вон выходящий. Не знаю, не испытал, но думаю, что любить мертвых – это такая безысходная любовь, такая пропасть, что – где же выход? В памяти? Но границы памяти, как их определить? И что это значит по великому счету – любить и быть верным тому, кого уже нет? Что это? Вот то, что было сегодня с М.? Или это тоже какая-то ложь? Или же, наоборот, это страшная правда? А ведь и Марья Степановна тоже мне про мужа рассказывала, тоже что-то такое, что любовь ее неизбывна, а что это – неизбывна? Вот и чувствую, что ничего этого я не знаю, а ведь как раз главное в любви – это знать ответ на этот именно вопрос, на вопрос: любовь и жизнь – это да, ну а любовь и смерть – *это что*?

Глава третья

7. Жизнь Гаврилова

Все получилось, как и предполагал Гаврилов, – командировка его закончилась на следующий день. Можно сказать, его просто-напросто откомандировали назад. Но теперь, когда в кармане у Гаврилова был билет на самолет, он, пожалуй, и не жалел ни о чем: домой возвращаться в любом случае приятно. Все, что нужно было, Гаврилов купил и даже отбил домой срочную телеграмму: вылетаю, мол, ждите, целую крепко, ваш Гаврилов. Но когда Гаврилов приехал на аэровокзал, ему вдруг объяснили в справочном бюро, что отсюда, с аэровокзала, на его рейс не оформляют вылет, нужно ехать прямо во Внуково. А на вопрос: «Почему же меня не предупредили, когда продавали билет?» – ответили: «Гражданин, мы не продавали вам билет. Спрашивайте с того, кто вам продавал». Но спрашивать с кого бы то ни было уже некогда, тем более что и не с кого было спрашивать: до отлета оставалось ровно час и двадцать минут – Гаврилов нервно усмехнулся. Он вышел из здания аэровокзала – здесь, с правой стороны, была стоянка рейсовых автобусов. На Внуково автобус отходил через десять минут. Гаврилов прикинул: десять минут ждать здесь плюс сорок минут дорога – остается до взлета 25–30 минут; в общем, в обрез, но успеть можно… В это время мимо Гаврилова промчался странный мужчина в желтом, в клетку, пальто, в пенсне и с бородкой клинышком; сначала Гаврилов даже не понял, что такое он бормотал, пробегая сквозь толпу, а потом, когда тот уже бежал обратно, услышал:

– Ну кто, кому во Внуково, товарищи? Кто? Кому? Одно свободное место в такси, горю, спешу… Есть кто? Кому надо?..

Гаврилов невольно подался вперед, потому что ему-то как раз и нужно было побыстрей во Внуково, а потом, в последнюю секунду, когда он уже хотел крикнуть: «Мне, мне надо, я спешу!» – он вдруг в нерешительности замялся – и сам не знал почему. То ли денег пожалел, а это бывало с ним – жалеть денег на такси, как-то всегда казалось, что деньги только впустую тратить на этих хапуг-таксистов, то ли мысль мгновенная в нем сработала: успею и на автобусе,

хоть и впритык, а успею, должен успеть… Скорей всего, тут и первое и второе было причиной, так что ничего он не сказал, только покачнулся вперед, а потом его назад повело… Мужчина, так никого и не найдя, махнул в досаде рукой, заскочил в такси – и машина, с визгом развернувшись, помчалась во Внуково…

А когда тронулся вперед и автобус, Гаврилов все поглядывал на часы, и ему казалось, что и водитель слишком флегматичен, и автобус еле ползет, и светофоры, как назло, встречают красным светом, и движение слишком напряженное… В общем, Гаврилов порядком нервничал, ругал себя, что пожалел денег и не поехал на такси. Наконец, уже за метро Юго-Западная, автобус выбрался на загородное шоссе и помчался так, как и мчатся обычно экспрессы. Настроение у Гаврилова несколько улучшилось, хотя в душе все равно как-то неспокойно было. Отъехали они от Юго-Западной, может, километров пять или шесть, как вдруг пассажиры зашептались между собой, начали заглядывать через головы друг друга, показывать куда-то руками. Сначала Гаврилов ничего не понял, а потом, как и все, заметил впереди, справа от шоссе, столпотворение людей, машину «скорой помощи», мужчин в белых халатах… Все это приближалось к ним на огромной скорости, а потом, когда они промчались мимо все на той же огромной скорости, Гаврилов то ли заметил, то ли каким-то предчувствием угадал, что на носилках как будто лежит мужчина в желтом, в клетку, пальто… Это продолжалось миг, и не было никакой уверенности, что так оно и было все на самом деле, но что-то такое желтое действительно мелькнуло, даже и бородка знакомая как будто, даже и пенсне как будто, но в общем полной уверенности не было… А автобус мчался дальше, вперед, во Внуково, потому что спешил Гаврилов, потому что спешили все пассажиры, потому что есть в конце концов четкое и разумное расписание… А Гаврилов если и не был до конца уверен в том, что увидел, то только потому, что не хотел верить… Слишком уж нелепой была случайность и слишком странной в этом случае представилась Гаврилову его собственная судьба. И радость, что не он, что пронесло, что могло быть худо, и удивление наполовину с горечью – а ведь кто-то другой, кому-то не повезло… Может, хоть не насмерть? – только эта мысль как-то успокаивала Гаврилова. Может, думал он, все еще обойдется, может, все будет хорошо у этого невезучего мужчины в желтом, в клетку, пальто…

И потом всю дорогу и в автобусе, и в самолете Гаврилов только и думал, что об этом странном стечении обстоятельств, и ничего ему не оставалось делать, как искренне благодарить судьбу. Он думал, как будто уже записывал свои личные мысли в дневник. Он думал: вот такова наша жизнь, думаешь жить не то что вечно, но думаешь, что в следующий-то миг обязательно будешь жить, а оказывается, можешь исчезнуть в любую секунду отпущенного судьбой времени. И вот потому-то, думал он, нужно все, что происходит в твоей жизни, оценивать с высоты этой мысли, а все, что происходит в твоей жизни, должно соответствовать величию и одновременно простоте этой мысли. Вот умри ты сейчас – а что ты сделал? для чего жил? – два-три пустячных поступка, две-три банальных мысли, два-три добрых дела – а остальное все ложь, суета, эгоизм и еще раз ложь…

Мысли эти – а они как будто страшные мысли – на самом деле вносят в человека неожиданную светлость: хочется сделать что-то великое, пожертвовать собой ради большого, нужного, человеческого… В этом же состоянии оказался и Гаврилов, и уже когда он вышел в Свердловске из самолета, а потом проехал на экспрессе до площади 1905 года, а потом на трамвае приехал на ВИЗ, то не шел по родной улице, а как бы летел по ней, не в смысле скорости, а в смысле приподнятости своего состояния, как будто даже чуть над землей он парил…

Но никто, как только Гаврилов нажал на кнопку звонка, дверь ему не открыл, это Гаврилова огорчило, потому что так ему хотелось, чтобы Света оказалась сейчас дома. Он порылся в карманах, нашел ключ и щелкнул замком; потом он толкнул дверь, но она открылась лишь чуть-чуть, а дальше ее не пускала цепочка. «Значит, дома», – подумал Гаврилов. В это время в квартире действительно послышалось суетливое движение, Света подошла и сняла с двери

цепочку. Он шагнул вперед улыбающийся и весь в широком таком, размашистом движении… Света стояла перед ним в легком осенне-зимнем пальтишке, накинутом прямо на черную, любимую им, комбинацию. «Здравствуй!» – еще в прежнем своем состоянии сказал Гаврилов, но тут же улыбка так прямо и поползла в сторону с его губ. Света смотрела на него с каким-то незнакомым, никогда ранее не виденным им гордым и отчаянным вызовом.

– Я не одна, – сказала она, стараясь быть спокойной, но голос ее дрожал, словно ее душил озноб.

Гаврилов машинально взглянул налево – дверь в комнату была закрыта, взглянул направо – на вешалке висел темно-синий пиджак, внизу, под вешалкой, стояли мужские темно-коричневые туфли с блестящими металлическими пряжками. «Не может быть», – пронеслась в нем мысль… А из всего, что было потом, Гаврилов мог отчетливо вспомнить только то, что он не в силах был оторвать своих глаз от глаз жены. Нежная черная мягкость опустилась на Гаврилова, ноги едва выдержали эту тяжелую мягкость тела, подкосились и мелко дрожали от непосильного напряжения. Он смотрел ей в глаза, и это был такой собранный, пораженный, осмысливающий, неверящий, изучающий, глубокий и прекрасный по силе своего выражения взгляд, что невольная гримаса исказила его лицо, на этом лице как бы исчезло все, что есть на лице, а остались одни глаза.

– Не ожидал? – усмехнулась она, а он смотрел, как при этом с горечью дернулась ее верхняя губа, смотрел в ее глаза и видел, что эти глаза излучают такую боль, муку и превосходство… Он смотрел на нее и совершенно перестал сознавать себя как человека, способного к какому бы то ни было действию – слову, шагу, просто движению… Он смотрел на нее и как бы вонзался в нее взглядом, глубже, глубже, и не на чем было ему остановиться, потому что в этой глубине не было дна, ибо в этой глубине не было отгадки. От нарастающего напряжения гримаса на его лице становилась все безобразней, глаза горели, цвет лица тускнел, мрачнел, темнел, и наконец почти черная, страшная краска залила его щеки, лоб, подбородок, шею.

– Ну что же ты, – сказала она ему, теперь уже усмехаясь. – Стоит ли так…

Он смотрел ей прямо в глаза и мог бы так смотреть сколько угодно, не понимая, что она-то уже не может видеть такой его взгляд.

– Ты пройдешь? – спросила она мягко, как у больного. – Пойдем… – Она осторожно взяла его за руку и, левой рукой придерживая ворот пальто, повела его на кухню. Он сделал первый шаг, как на ходулях, ноги не слушались его, он даже чуть припал на правую ногу… Потом сделал второй шаг и так, как во сне, прошел вместе с ней на кухню; она посадила его на стул по одну сторону кухонного стола, а сама села на табуретку по другую сторону. Он сидел и опять смотрел на нее, а она, подперев подбородок руками, задумчиво смотрела на него.

– Ведь я же у тебя плохая, – сказала она. Он молчал. – Ведь я тебя не понимаю, – продолжала она. Он молчал. – Ведь у тебя сложный внутренний мир, – говорила она. Он молчал. – Тебе нужна жена умная, воспитанная, тонкая. Чтобы разговаривала с тобой на разные темы. Чтобы разделяла твои необыкновенные взгляды на жизнь. Чтобы восхищалась тем, чем восхищаешься ты. – Он смотрел на нее. Он слушал. Но он ничего не понимал, он только смотрел на нее и с острой болью чувствовал, что перед ним сидит человек, родней которого не может быть на всем белом свете. – А я у тебя плохая. Я у тебя глупая, – продолжала она. – Меня можно иногда и ударить. Ничего, сложный внутренний мир это позволяет. Меня можно иногда и оскорбить. Ничего, необыкновенным натурам это позволяется. Меня можно и обмануть. Ничего, недалекая жена этого не заметит. Меня можно иногда и предать. И забыть. И оскорбиться мной можно. И хлопнуть иногда дверью. И пьяному обругать. Необыкновенному человеку все можно. А обыкновенной жене надо прислушиваться к необыкновенному мужу. Идти за ним в огонь и в воду. И в конце концов прожить свою жизнь ради его жизни… – Она говорила. Он молчал. Он смотрел на нее, и такая в нем сейчас сложная борьба происходила,

такое отчаяние и обреченность, что дальше некуда. Она говорила еще, а он слушал, а потом они сидели молча и смотрели друг другу в глаза.

– Скажи, – спросила она, медленно выговаривая каждое слово, – ты уйдешь… или мне сказать ему, – она кивнула в сторону комнаты, – чтобы он ушел?

Он хотел что-то ответить, что-нибудь такое, что он уйдет, а тот пусть остается, или нет, он хотел сказать, что он уйдет, но и тот тоже пусть уйдет, или даже нет, он хотел, в сущности, сказать, что хотел бы взглянуть на него, просто взглянуть, увидеть, с кем она здесь, понять, кому она предпочла его, увидеть его глаза, почувствовать его, просто увидеть… Но сказать он ничего не мог, не было слов, не получалось говорить, он открыл рот, а ничего не сказалось, только пробулькало в горле что-то жалкое и невнятное. Но она была упряма сейчас и снова повторила:

– Ты или он? Сказать ему?

Он знал, что в том положении, в каком он сейчас был, благородно и сильно было бы, если бы он встал и ушел, но он не мог этого сделать – ни физически, ни душевно. Поэтому, когда она еще раз повторила:

– Ему сказать? Да? Да? – он кивнул и даже не кивнул, а в кивке опустил голову, и это было первый раз сегодня, что он не смотрел ей в глаза.

Она поднялась с табуретки и, закрыв за собой кухонную дверь, ушла по коридору в комнату. Он слышал голоса, разговор, не понимая ни слова, но чувствовал, что большего оскорбления в жизни он еще не испытывал и не испытает уже никогда. Потом хлопнула дверь, щелкнул замок, и Света вернулась, а Гаврилов снова не мог посмотреть ей в глаза, не смог поднять головы.

– Тоже хотел познакомиться с тобой. Посмотреть на тебя, – сказала она, усмехнувшись. Он поднял глаза, она была взволнована, раскраснелась. Гаврилов отвернулся.

Так они сидели, молчали. Молчали, и не знал никто из них, что делать.

– Ну, что будем делать? – спросила она.

Он не ответил, а она больше не спрашивала, сидели и молчали.

– А знаешь, – вдруг сказала она, – я рада, что ты приехал.

Он смог усмехнуться только внутренне, на внешнюю усмешку у него не было сил; он, может, даже и внутренне не усмехнулся, а лишь только подумал, что вот сейчас надо бы усмехнуться.

– Я правда рада, – повторила она.

Он не мог понять, как это можно радоваться, что он приехал, и быть при этом с другим. Это никак не понималось им, не могло ясно войти в его сознание.

Потом, помолчав еще, она сказала:

– У нас ведь ничего не было.

Он хотел сказать: «Врешь…» – но опять только промычал что-то.

– Я не оправдываюсь, – сказала она. – Просто это правда. Я хочу, чтобы ты знал правду.

Он еще ниже опустил голову.

– Но если для тебя только это важно… – сказала она, помолчала, подумала. – Если именно это… – Она еще помолчала. – Тогда знай: это было бы, если бы ты не приехал. Это правда. Но не это для меня важно. Это все мне безразлично. Так безразлично, что даже от самой себя тошно…

«Врешь», – хотелось ему опять сказать, но он чувствовал, что это действительно правда.

А когда она спросила его:

– Ну, так что будем делать? – в коридоре раздался звонок.

Света вышла, – Гаврилову даже дурно стало. Опять какой-то разговор, голоса, хлопнула дверь, щелкнул замок.

– Телеграмма, – сказала Света, вернувшись. – От тебя. Что ты приезжаешь… – Она горько усмехнулась.

После этого, помнит Гаврилов, ему все хотелось спросить жену, успела ли она получить его письма. И еще хотелось спросить, куда она спровадила Аннулю. Ему важно было увидеть сейчас дочь, как никогда до этого. И еще одна мысль все время вертелась в голове Гаврилова, самая навязчивая: ему все хотелось сказать, что он не забыл, привез из Москвы тушенки, он не забыл об этом, он привез… Но ничего этого он тогда не узнал и не спросил, потому что никак не мог решиться произнести хотя бы слово.

8. Письмо Сережи Гавриловым

Достопочтенные тетенька и дяденька!

У нас здесь премилая погодка, а у вас на горизонте тучки собираются. Братцы славяне, дорогие дяденька и тетенька, не гневите Гос пода Бога, живите мирно, живите богато, воркуйте как голуби, щебечите – или как тут написать? – как птички, – чего вам, милые дяденька и тетенька, не живется спокойно? Впрочем, я ведь всегда помню, – если я вообще что-нибудь помню, – что вы с детства были оба великие шутники, дошутились до того, что даже поженились, и кто из вас для меня настоящий дядя или настоящая тетя, даже не помню. Понимаете, оба настоящие – так что вот вам великий указ племянника вашего – чтобы ни-ни! Слышите? Ну что там у вас случилось, что за проблема? Я же вас как облупленных знаю, вы же на всякие такие штуки не способны – значит, характерами не сошлись? Согласитесь, это глупый тезис, как сказал бы… Тут не знаю, что написать. В общем – глупо. Ну, а если измена – да неужели? – ах, проказники! – так это тоже хорошо, крепче любить будете друг друга. Советую вам, если не изменяли еще, поспешите: это и интересно, и полезно. Кроме того, современно. Дяденька, если не сможешь убедить в этом тетеньку, отпусти ее к нам, мы тут ею займемся. У меня есть паршивка на примете – закачаешься. Да и просто так рад буду вас, тетенька, повидать. И вас, дяденька. Ибо я, в противоположность вам, надумал… Вы уже догадались. Дело такое, последний год в Москве, надо думать о будущем. Так что женюсь по великому расчету. Ну ее, любовь! Шучу, конечно. Влюблен. Страшно. И не знаю, что делать. Вот сердечко и подсказало, ему ведь больше всех достается, трепыхается, бедное. Так что приглашаю вас – официально – но случаю моего… и проч. Невесту, дяденька, вы знаете. Она вот сидит сейчас напротив меня и улыбается, рожица. Счастлива? – спрашиваю. – Счастлива, – говорит. И говорит еще, слушайте, слушайте, дяденька: передай, говорит, горячий-прегорячий привет своему дяденьке и скажи так: с Володиком все замечательно – и все, больше ничего, остальное он знает, он все поймет. Выполняю сие поручение слово в слово. Ну с, и поклон вам, дяденька, от Марьи Степановны. Нижайший-с поклонец, дяденька.

А по сему кончаю, ибо иссох на слово. Челом бью и досвиданькаюсь с вами, достопочтенные дяденька и тетенька. И жду вас. И заранее прощаю вас за все ваши глупости.

9. Из дневника Гаврилова того времени

Я знаю, я всегда стремился к правде и всё, что ни делал, старался делать с правдой и верой в правду; и если я обвинял себя во лжи, то не потому, что лгал, а потому, что боялся лгать, а если обвинял себя в эгоизме, то только потому, что боялся проспать в себе эгоиста. Я знаю, что всё, что ни делал, я делал со смыслом и всегда стремился к этому смыслу, иначе жизнь моя уже не жизнь. Не знаю одного: где, когда, в чем я ошибся, где, когда и что со мной произошло? Я не уничтожен, но был близок к этому; я спасен, но и раздавлен. Повторяю: я спасен, но и раздавлен. И поэтому сегодня, сейчас, сию минуту я плачу… Я плачу и не стыжусь этого; я плачу, потому что не могу иначе.

Я плачу…

Бегство

I

Коломийцев привычно нажал на клавишу приемника, подошел к окну. Была за окном осень. Холодный – зима скоро, что ли? – туманный воздух клубился над асфальтом, внизу во дворе светили желтые фонари.

«И теперь, – говорил по радио некий Николай Степанович, за спиной у Коломийцева, – я экзаменую себя: чего я хочу?

Я хочу, чтобы наши жены, дети, друзья, ученики любили в нас не имя, не ярлык, не фирму, а обыкновенных людей. Еще что? Я хотел бы иметь помощников и наследников. Еще что? Хотел бы проснуться лет через сто и хоть одним глазком взглянуть, что будет с наукой. Хотел бы еще пожить лет десять. Дальше что?

А дальше ничего. *Я* думаю, долго думаю и ничего не могу придумать. И сколько бы я ни думал…»

Радио Коломийцев слушал рассеянно, но слова Николая Степановича: «Я думаю, долго думаю и ничего не могу придумать…» вдруг передразнил:

– Думай, думай, делать тебе нечего…

«И сколько бы я ни думал, – продолжал Николай Степанович, – и куда бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно одно, что в моих желаниях нет чего-то главного, чего-то очень важного…»

– Еще бы! – сказал Коломийцев. – Главное ему подавай! Важного захотелось! – Нс раздражением добавил: – Тоже вот работничек какой-нибудь, черт бы вас всех!..

Настроение у Коломийцева вконец испортилось. Завтра уже пятница, перед Петром Никандровичем надо отчитываться, а дело не продвигалось.

Коломийцев был уже в ванной, когда по радио объявили, что передавалась радиокомпозиция по рассказу Чехова «Скучная история».

Коломийцев задумался: «Скучная история»? Нет, не читал… «Толстый и тонкий», «Каштанка», «Дама с собачкой», «Человек в футляре»… Что еще читал? Нет, «Скучной истории» не читал, работы столько – не до «историй», тем более «скучных». Только и думаешь, как бы с этим проклятым отчетом разделаться.

Приняв на ночь душ, Коломийцев вышел из ванной и лег в постель. Но, конечно, не спалось. Пришла в «Тюменьлес» бумага – оплатите за транспорт по такому-то счету столько-то, основание – накладные с января по июнь включительно. Петр Никандрович, не задумываясь, черканул резолюцию: «подрезать» – и отдал бумагу Коломийцеву:

«Подними счета, проверь накладные и путевые листы, найди кой-какие ошибки и исправь, где надо. Словом, твоя задача – уменьшить счет разика так в полтора, а еще лучше – в два. Напишешь от моего имени соответствующую бумагу, я подпишу. Все понятно?»

«Понятно, – ответил Коломийцев. – А что, в счете действительно ошибка?»

«Что? – удивился Петр Никандрович. – А-а… Там должна быть ошибка. Должна. Ну, успехов!..»

Больше недели копался Коломийцев в бумагах, сверял цифры, подсчитывал, пока наконец не обнаружил, что счет верный, никакой ошибки нет. С этим и пришел к Петру Никандровичу.

«Ты что, Антонин Иванович, – удивился начальник, – так ничего и не понял? Ты меня удивляе-ешь… Не ожидал я от тебя, брат. Иди-ка давай, и чтоб к пятнице все готово было».

«Но, Петр Никандрович…»

«Иди, иди. Счет уменьшишь, разговор окончен. А и удивил же ты меня, впрочем… Ну – действуй!»

Только тут наконец понял Коломийцев, что от него требуется: написать подложный документ. И начались его мучения. Не мог он подготовить такую бумагу, не получалось. Есть конкретные цифры, факты – как же с ними не считаться? В конце концов он так измучился, что спать почти перестал; а если засыпал, то снились ему отчеты, печати и собственная резолюция на ложной бумаге: «Не разрешаю. Ант. Коломийцев». Просыпаясь, он думал: вот бы действительно так, «не разрешаю» – и баста.

Да, а завтра уже пятница. И, конечно, не спалось. Коломийцев долго ворочался в постели, все думал, думал… Да что думать-то? Пустое все, думай не думай… И оттого, что он наконец пришел вот к этому: «думай – не думай» – накатилось вдруг удивительное спокойствие. В самом деле, если вдуматься, смерть завтра, конец, что ли? А не смерть – то что страшное может случиться? Вот в школе, бывало, вызовут к доске решать задачку про поезда, как они встречаются, промелькнут за столько-то секунд друг для друга, а потом считай то скорость, то пути, то еще что-нибудь… А никак не считается – и страшно станет до ужаса, стыдно, уши горят, сердце колотится, руки трясутся, провалиться на месте – самое желанное, а уж как совсем найдет отупение, то и подумаешь с безразличием: а не все ли равно? И такая тут тоска, а еще больше – ледяного безразличие, что и учитель нечто поймет, «кол» поставит, скажет: пошел вон (мягче, конечно), и потом сидишь за партой, смотришь в окно и думаешь, как философ: да и зачем мне все? Пустяки, пустяки это… и двойки, и учителя, и вообще… И вот с таким почти ощущением заснул все-таки Коломийцев.

Утром, проснувшись, Коломийцев позавтракал на скорую руку и вышел из дому; через пять минут он был уже в автобусе.

В автобусах, где взгляд друг на друга мимолетен, Коломийцев каждый раз отчетливо сознавал, что он не просто Коломийцев, не Антонин даже Коломийцев, но уже Антонин Иванович. Бывало, лет пять назад на его взгляд отвечали молоденькие, стройные девушки, а теперь, сколько ни смотри на них, не обращают внимания. Теперь другие – полнеющие, средних лет женщины посматривают на него с интересом: его крепкая, полная фигура внушает им доверие, уважение. Для них он, верно, прекрасный семьянин, надежный муж, глава…

Обычно в девять, без десяти, Антонин Иванович сидел в кресле, сидел плотно, удобно, серьезно. Он любил бывать в кабинете один, наслаждаясь тишиной, уютом, дневным светом ламп. Каждый раз, мурлыча бессознательно «Во поле березонька стояла…», Коломийцев вынимал из ящичков стола все до единой бумаги и просматривал их. Ему доставляло удовольствие сортировать документы, перекладывать их, просто смотреть на бумаги. Особенно Коломийцев любил побаловаться своей подписью. У него в ящиках было много ненужных бумаг, так вот на них с левого нижнего до правого верхнего угла ему нравилось ставить резолюцию: «Не разрешаю. Ант. Коломийцев».

Когда стрелка подвигалась к девяти, Антонин Иванович ненужное прятал в стол, но уж то, без чего не обойтись сегодня, раскладывал по столу в тщательном беспорядке. Ему нужно было, чтобы Петр Никандрович, поздоровавшись, про себя отметил: «Молодец все же Антонин. Уже работает…»

Начало – самый важный момент рабочего дня. Оно должно подтверждать, что Коломийцев любит свою работу; знает ее; его не нужно, как некоторых (намек на другого сотрудника – Павлика), подгонять, стыдить, он твердо знает свои обязанности. Хотя, конечно, и к Павлику Петр Никандрович относился хорошо. Ругал его постоянно за «отвратительнейшее отношение к труду», но в то же время обойтись без него не мог.

…Разложив и на этот раз нужные и ненужные бумаги, Коломийцев сидел за столом и ждал. Он не знал, что будет говорить Петру Никандровичу, как будет отчитываться перед ним. По крайней мере, начнет рабочий день как обычно, за столом, среди бумаг…

II

После работы Коломийцев решил съездить к жене и сыну. С волнением, в котором было больше грусти, чем радости, покупал он цветы и вино, а сыну – игрушки, потом спешил, как всегда в таких случаях, на вокзал, и вот он уже в электричке…

За окном, куда смотрит Коломийцев, мелькают желтые листья, и больше ничего, кроме мутного мелькания золота, не видит Коломийцев. Он вспоминает весь сегодняшний день, а главное – сегодняшнее утро, и как-то нехорошо, тяжело и пусто у него на душе. А перед глазами все время стоит Павлик. Вот он вошел сегодня в отдел, грохнул дверью, сказал: «Привет, Антоша!» – и улыбнулся. Целый день сегодняшний он улыбался, впрочем, как всегда. А Коломийцев ждал… Он ждал, что вот сейчас дверь отворится и войдет сам Петр Никандрович. Павлик, видно, угадал страх Антонина Ивановича и весело рассмеялся.

– Слушай, Антоша! Ну чего ты его так боишься?! Чего он тебе сделает?

Коломийцев неопределенно скривил рот.

Павлик подошел к нему, сел на стол прямо поверх бумаг.

– Не придет он сегодня. Уехал в леспромхоз, на лесосплав посмотреть. Он тебе не говорил, что ли?

– Он сказал… чтоб в пятницу готово было. Ты же слышал.

– Подумаешь, в пятницу! Отдашь в понедельник. – Павлик, сидя на столе, болтал ногами. – Получилось хоть?

Коломийцев усмехнулся: в том-то, мол, и дело, что…

Павлик спрыгнул со стола, потянулся: «Эх, жизнь, жизнь!..» А потянулся он сладко, как кот, стащивший у хозяина кусок мяса. «Делать нечего, нечего, нечего!..» – напел он бодро и, будто ноги у него связаны, допрыгал до своего стола, сел.

– Святой ты, Антоша, а пропадаешь ни за что, ей богу! Хочешь, в два счета бумагу состряпаю? Слышишь?!

– Слышу, слышу, – усмехнулся Коломийцев.

– Не веришь?! – поразился Павлик. – А ну давай-ка сюда все бумажки! И свои, свои тоже давай…

Антонин Иванович даже не пошевелился.

Павлик не погнушался, сам встал, забрал бумаги, полистал их, всмотрелся, изредка спрашивая: что это? а это? а эти каракули зачем? и так далее.

Потом он сидел, думал, хмыкал, писал, но все это делалось безо всякого напряжения, несерьезно делалось, и бесконечные его реплики: ага! вы думаете, мадам? вот-вот!.. – даже сердили Коломийцева. Но он молчал.

– Ох, и жаль мне беднягу Петра Никандровича! – сказал Павлик. – Жуть как жаль!

Антонин Иванович посмотрел на Павлика вопросительно.

– Ты помнишь, Антоша, дороги Смоленщины? – рассмеялся Павлик. – Помнишь, как однажды, я еще в тот день исцарапан был, орал он на меня? Не жаль ему было меня, не жаль, дорогому Петру Никандровичу… Ах, и зря, что не жаль!

Действительно, во время одного совещания Петр Никандрович вдруг будто споткнулся на слове, поперхнулся… В углу, за своим столом, положив голову на руки, спал Павлик. Петр Никандрович чуть не изошелся в крике…

– А ведь у него, бедняги, дочь есть. И какая дочь! – продолжал весело Павлик. – Ах, ах! И зовут ее, между прочим… Как ее зовут, Антоша? А зовут ее, между прочим, Наденька… Наденька, маленькая одна девочка, которая так сильно царапается… Прозрачен ключик? – И, видя, с каким глупым лицом услышал все это Коломийцев, Павлик подмигнул ему, рассме-

ялся: – М-да!.. Ну, это все давно, давненько было, и меж нами, как говорил поэт, не было еще очаровательной близости… душ, ха-ха!

Смеялся, улыбался, был рад и даже счастлив Павлик, а рука его между тем легко порхала по бумаге, разрешала «Антошину» проблему…

– Или вот например, вчера… Какие слова говорил я глупой этой Наденьке! С каким чувством охмурял ее по-английски:

«We began to speak to as about girls saying what nice soft hair they had and how soft their hands were and how all girls were not so good as they seemed to be if one only knew…»

А ведь когда я переводил на русский, она прямо дрожала, бедненькая… Послушай, как это звучит: «И мы начали говорить о девушках, какие прекрасные мягкие у них волосы, и какие мягкие у них руки, и как все они, девушки, не так хороши, как кажутся, если бы вы только знали…» Да, жаль, жаль мне очень теперь дорогого Петра Никандровича, не уберег он свое сокровище, не уберег!.. А может, жениться теперь на ней? А?

– На ком?

– Да ты что?! Я ему рассказываю, рассказываю, а он: на ком? На Наденьке, на ком еще! Представляю, качу на черной «Волге»… А ты, Антоша, представляешь?! Только фигу им всем, пускай другого для лимузинов ищут, а мы и так перебьемся, верно?

Что ответил Антонин Иванович? Промолчал. Давно вот и в нем жило подозрение, что Павлик неравнодушен и к его собственной жене, Светлане. А ведь такой, как Павлик…

А Павлик все писал и писал, напишет, подумает, зачеркнет и снова пишет. И чувствовалось – радостно ему так работать.

– Ну, кажется, все! – Павлик удовлетворенно вздохнул, отложил ручку в сторону, закурил. – Начнем по порядку, Антоша. Ты помнишь инженерную команду Пучкова? Помнишь, да?.. А договор номер такой-то помнишь?.. А что там было написано, помнишь? А записано там было, между прочим, что товарищ Пучков со своей командой согласно контракту такому-то направляется в наше распоряжение. Контракт же, среди прочих пунктов, предусматривает… Так, сейчас посмотрим, что он предусматривает… Вот, пункт № 3. В целях достижения большей мобильности, а также в связи с заинтересованностью сторон в скорейшем выполнении задания, приказываю обеспечить команду инженера Пучкова… так, так… ага:…транспортом…. во, транспортом!., ну и так далее… Теперь смотрим сюда… вот, от 5 декабря 197… года, договор… Предоставить команде инженера Пучкова транспорт… так, так… в полное их распоряжение при условии… Во, слушай!.. При условии ежедневного рабочего оформления путевых листов за личной подписью начальника… так… тов. П.Н. Горюна, Петра Никандровича то есть. Что нам это дает, а, дорогой Антоша? А то, что совершая ряд простейших арифметических операций и вплетая в дело небезызвестного нам Пучкова, мы и пишем следующее:

Доводим, мол, до вашего сведения, что счет такой-то может быть оплачен в размере стольких-то рублей (это, разумеется, чуть не вдвое меньше затребованного!) в связи с:

1) участием в выполнении контрактного задания независимой группы инженера Пучкова;

2) предоставлением в распоряжение названной команды транспорта такого-то;

3) ошибочным включением (в размере стольких-то рублей) платы за транспорт, находившийся в пользовании инженера Пучкова в период сверхурочных работ, как непредусмотренных контрактными обязательствами.

Ставим точку и добавляем: вышеуказанную, мол, разницу (записываем разницу от основной цифры счета) просим отнести на счет такой-то (читай: на ваш счет) ввиду использования командированной вами группой (именно подчеркиваем: командированной вами!) транспорта такого-то в период сверхурочных работ, не предусмотренных контрактным договором… Все. Ставим число, подпись. Петр Никандрович жмет нам руки, гладит нас по головке. Ну как?

Коломийцев слушал Павлика и ушам своим не верил, что существует, оказывается, простейший выход из положения. Настолько, видимо, простой для Павлика, а для Коломийцева – настолько сложный, что и не уразумеешь этой простоты с первого взгляда.

А Павлик рассмеялся.

– Так-то, Антоша! Учись, пока я жив… Правда, могут прицепиться за «период сверхурочных работ», но – как ни парадоксально – в контракте нет ни слова о продолжительности рабочего дня для команды Пучкова, есть только общий срок выполнения задания. Это естественно, а кроме того, заранее предусмотрено, дабы команда Пучкова могла работать ежедневно хоть до полуночи, лишь бы уложилась в общий срок. За это, собственно, и шла им та бешеная премия, о которой, конечно, и ты слышал, – лес, он все ж таки народное богатство! Ну, а счет за транспорт предъявлен почасовой, а это как раз нам на-руку. Почему? Да потому, что с юридической точки зрения мы всегда будем правы, если произвольно примем за продолжительность рабочего дня общесоюзный стандарт. Понятно?! Это дает нам право, к тому же, считать часы работы сверх времени общесоюзного стандарта – сверхурочными, то есть не предусмотренными контрактом и потому не подлежащими оплате. Ну, и так далее… Колесо в общем вертится, а денежки текут в наши карманы. Жаль, только, что не в наши с тобой…

Коломийцев очнулся от воспоминаний, вспомнил, что не в кабинете уже, не на работе он, а в электричке, едет к жене и сыну. Но ждут ли они его? Вряд ли, вряд ли… Главное – Света не ждет. Но ведь такой трудный день сегодня – что ему оставалось делать? Так вдруг захотелось увидеть их…

Соседи Коломийцева по электричке о чем-то яростно спорили; он прислушался.

– Мы, конечно, все скромные и хорошие были, а вспомните – не ругали нас старухи?!

– Да за что нас-то ругать?

– Как за что? Ну вот вы, я вам, вам говорю, гражданка, не носили квадратных плечиков? Носили. Тоже мода была – и носили. А старухи что?.. Старухи ворчали. Э-э… да что говорить!

– Вот и не говорите… А то защитница нашлась! Их защищать, так они скоро совсем нагишом ходить будут!

– Правильно говорите! Сядет, понимаешь, такая в такси – нафуфыренная, напомаженная, а лет-то ей шестнадцать или семнадцать, закинет ножку на ножку, а они тощие – тьфу! – и скажет этак томно: «Шеф, будь добр, прокати!» А я как гаркну: «А ну вылазь, стерва, а то я покажу сейчас шефа!» Так она испугалась, думаете? Черта лысого она испугается! Глазки прищурит, а они злые, как у змееныша, и скажет спокойно: «Не сердись, шеф. Я думала, ты мужчина. Я-то ведь женщина…» Вот они какие, все эти скромненькие! Давить их надо! Под корень!..

– Ну, это вы уж слишком. Не все же такие, нельзя же сразу всех охаивать…

– А я вам говорю, что все! Я пятнадцать лет на такси работаю, так что знаю…

А электричка, остановка за остановкой, мчит и мчит дальше. Коломийцев начинает воспринимать затянувшийся спор просто как внешний шум, а слова «молодежь… молодежь… молодежь…» уже, кажется, и не люди говорят, а мерно выстукивают колеса… Вспоминаются Коломийцеву знакомые молодые лица, начинает он тоже думать о молодежи, и снова вспоминается Павлик… Конечно же, Павлик… Он, когда отдал Коломийцеву бумагу, сказал так:

– Кое с кого причитается теперь, Антоша! – И усмехнулся торжествующе: – Если, конечно, эти кое-кто согласны на мою «диссертацию»… А уж ты, ясное дело, возьмешь эту бумагу, а? Вырвешь, схватишь, скалиться от радости будешь, а? У-у… зверь! Да на твоем бы месте я руки Павлику целовал! Пальчик за пальчиком! Понял?!

Но Коломийцев молчал. Ничего, никакого решения не мог он принять. Страшно было, что вот какой-то он не такой, как… как кто? Одним вот это сделать – раз плюнуть, другим вон то – тоже плюнуть, а ему, почему ему трудно? Да нет, не трудно даже, а почему… Как бы это

сказать… Почему вот он – это именно он, Антонин Иванович Коломийцев, такой, какой есть – а не кто-то другой? Почему?

– Впрочем, – усмехнулся Павлик, – время поразмыслить у тебя еще есть! До понедельника времени много, ясно тебе, Антоша?! – Павлик не на шутку разозлился, так и не услышав от Коломийцева слов благодарности. – Ну, а если не согласен, так я умываю руки. Хоть на этом себе спасибо заработаю!..

III

В шесть часов вечера Коломийцев приехал к жене и сыну, а через три часа, совершенно расстроенный, был уже снова в Тюмени. Он сидел в привокзальном ресторане, в огромном и светлом зале, и со странной усмешкой думал о себе, что начинает наконец просыпаться. В это слово он вкладывал какой-то странный загадочный смысл, о котором ни одна живущая на свете душа не могла даже догадываться.

Впрочем, было ему горько, ох, как горько! Бесконечно спрашивал он себя, чем он так плох, чего такое сделал в жизни, чем так провинился перед ней? Да что говорить! Трудно в жизни жить, да и ты… Кто ты?

Надо жаловаться… Настал он, этот момент, когда напротив должен сидеть человек и слушать, какой ты невезучий, как все не так и как все должно быть…

И этот человек, действительно, сидел, напротив, давно сидел и наблюдал за Коломийцевым.

– Вот я тебе и расскажу, расскажу, – сказал Антонин Иванович, как будто сто лет был знаком с человеком. – А ты рассуди. Хочешь рассудить?

– Меня Ваней зовут, – сказал человек, – я студент.

– Да какое это имеет значение?! – успокоил Коломийцев. – И хорошо, что студент. Правда, хорошо…

Антонин Иванович налил в две рюмки (Ваня пил вообще-то красное вино, но уж раз такое дело):

– За знакомство!

– Давай! Только тебя как зовут?

– Антонин.

– Ну и имечко! – Ваня незлобливо рассмеялся. – Ладно, поехали!

Вскоре Антонин Иванович рассказывал о себе… Как утром на работе был, как Павлик его выручал, и как семейная жизнь трещину дала, и как совсем недавно, часа два-три назад, ездил он к жене и сыну, да не очень-то его там приняли… Что? Как зовут ее? А какое это имеет значение?

– Нет, имеет. Очень даже имеет, – возразил Ваня.

– Ну, Светлана ее зовут… Она, и правда, светлая такая, чистая, хорошая… А сын весь в меня, такой из себя… Глаза черные, во какие… Как у меня, точно. М-да… Вернулся, значит, в Тюмень, настроение – хуже некуда, ну и решил сюда зайти, в ресторан…

– Дура она у тебя, – сказал Ваня. – Да и все они, бабы…

– Нет, чего уж говорить. Это я все, я…

– Ты?! А ты-то чего? Ты, что ли, от нее сбежал? Ты, что ли, спр-р-рашиваю?..

– Так-то оно, конечно, так. Но ведь и ее понять нужно. Вот скажем, у тебя ребенок, сын на руках, а муж студент…

– Так ты что, тоже студентом был?

– Да был, пришлось когда-то…

– Ну, тогда за это…

– …студент, говорю, на втором курсе еще, три года впереди. Жить-то надо? Надо жить. А как жить? М-да… Работа, правда, хорошая после подвернулась – в «Тюменьлесе», когда институт окончил, помог кое-кто, да и сам, вроде, не без ума, а там и привык, втянулся; Петр Никандрович, начальник, уважает, корректный, волевой человек, да… Только вот получилось как-то… Как бы это сказать… Ну, да я тебе рассказывал, Ваня, ты уже знаешь… В понедельник отчет представлять. Ты не думай, Ваня, я не проходимец какой-нибудь, но в отчете все обман. Не обман… Ну, что-то вроде того. Только для меня-то обман, я знаю…

Шумный и неугомонный сидел в ресторане люд, у каждого своя жизнь, и о жизни этой у всех не хватает времени наговориться. Но вот тот, кажется, пьяный уже человек, стоит ни с кем не разговаривая, качаясь, и опускает в чудесную, как ему думается, машину монету за монетой – и она поет ему бесконечно. Что нравится этому человеку? Песня «Ландыши». Он готов, кажется, слушать ее тысячу раз, слушает, улыбается, а всем другим в зале порядком надоели эти «Ландыши», сколько можно! – да и мода-то на песню десятилетней уже давности… Но Коломийцев, вдумавшись и чувствуя к себе за это уважение, вдруг понимает человека, он знает теперь, что с этой песней связано у того что-то хорошее, дорогое, и было это, конечно, лет восемь-десять назад, так что как запоют «Ландыши», так то, незабываемое, подымается из тумана… У него, у Антонина Ивановича, тоже так бывает, вот, например, как запоют где: «Девочка плачет, шарик улетел…», так он сразу подхватывает: «…ее утешают, а шарик летит…» – и больно, светло и грустно станет.

– Ну, так чего же она сбежала?

– Да как сказать… Не сбегала она, это я во всем виноват.

– Все ты да ты… А я не верю им, да и ты врешь! В них все дело, в бабах, то-о-олько в них, точно тебе говорю! Ты хоть и того лучше, а они все равно тебя сожрут…

– Ты что, женат, Ваня?

– Я-то? Нет, не женат… и не желаю! Потому что… я что знаю? Я жизнь знаю! Вот что я знаю…

– А-а… ерунда все это. В жизни проще и сложней. Но я Свету понимаю…

– А она тебя понимала?! – вдруг закричал Ваня. – Понимала она тебя, я тебя спрашиваю?!

– Тихо, не кричи… «Понимала»!.. Ей чего понимать. Она говорит: ты муж? Я муж. Ты глава семьи? Глава я. Отец ты сыну своему? Отец я. Так вот, говорит, и будь отцом, а не называйся… А ведь я просил: Света, пожалуйста, не надо никого… пока. Так она: раньше надо было думать, а здоровье из-за тебя не буду гробить! Родила сына, Сашей назвали, хорошее, конечно, дело… Только Света все чаще и чаще: ты отец – и все, делай что хочешь, а отец… А я тоже уперся: бросать учиться, что ли? Не могли мы иметь в то время ребенка, а он родился, сын… Что было делать? Зарабатывает Света мало, она воспитательницей в яслях, денег не хватало, вот и ссорились буквально по пустякам. А у меня то сессия, то проекты, то курсовые, то практика, то еще что-нибудь – в общем крутился как белка в колесе… В конце концов и запарились мы оба. Она говорит: «Не могу больше. Не могу!» А что я ей отвечу? Потерпи, говорю, еще два года – и все. «Два года! – плачет она. – Да я что, сумасшедшая? Нет, нет и нет! Уезжаю от тебя, а ты как хочешь… Ты не муж, не отец, не любимый ты, а ничтожество, ничтожество!» «Сама виновата, не надо было рожать!» – кричу я, а сам трясусь от обиды и бешенства. «Я всю жизнь, всю жизнь виновата! – плачет она. – Что любила тебя – виновата, что требую нормальных условий для семьи и ребенка – виновата! А ты, ты – эгоист, трус и ничтожество! Ты всегда всегда прав! Всю жизнь ты думаешь только о себе, да, да!..»

Коломийцев вновь почувствовал всю горечь этих слов, нахмурился и замолчал. Он сидел, не глядя на Ваню, и вертел в руках бокал, ни на чем, кажется, не сосредоточиваясь, только ощущая в сердце боль. И Ваня не мешал Антонину Ивановичу молчать, было ему отчего-то неудобно и одновременно жалко… Кого? Антонина Ивановича? Свету? Он не знал этого.

– Конечно, – сказал Коломийцев глухо, – не очень-то хорошо, когда тебе говорят: не люблю!., трус!., ничтожество!.. Несправедливо все это. Да что делать? Я все понимаю…

– «Понимаю», «понимаю»! Да чего тут понимать-то? – разозлился вдруг Ваня. – Чего? Почему теперь-то не сходитесь? Из-за тебя, может? Ведь у тебя квартира, деньги, работа… Из-за тебя, да? Молчишь? Молчи, молчи… Только скажу я: плевать ей на тебя. Она уж, наверно, с другим снюхалась!

– Не надо, Ваня, – поморщился Коломийцев. – Об этом не надо… – И вдруг, словно подхлестнутый чем-то, заговорил быстро, страстно, живо: – Да ведь я сам об этом думаю, понимаешь, сам все время думаю! Как представлю только, что она, может, не одна там, – и страшно сделается, так и переворачивается все внутри! И знаешь что? – Коломийцев перешел на шепот. – Я тут Павлика здорово подозреваю… я тебе рассказывал о нем, такой на все способен. Надумал я как-то мириться со Светой, а одному ехать страшно. Ну и взял его с собой. Приехали в поселок, познакомились… Мы со Светой свои дела решаем, а Павлик по комнатам ходит, – у Светы после матери целый дом остался, – ходит, репродукции рассматривает, произведениями искусства интересуется. Говорю Свете: переезжай ко мне. А она: нет, ни за что, никогда! Почему? И отвечает: ни почему, не верю тебе – и все. А Павлик ходит и ухмыляется потихоньку, есть у него такой прием – ухмыляться: будто все ему давным-давно знакомо, пройденный этап, детская забава… И все что-то бормочет вполголоса, про Кафку, Матисса, Ренуара, Джойса… или там про алкеевскую строфу, а сам наверняка в ней ни бум-бум, или еще про Эйнштейна, романтизм, символизм… Я-то хорошо знаю все его штучки!

Вот тут она возьми да и обрати на него внимание! Ему, конечно, не возразишь, не опровергнешь его – а букет-то из красивых и умных слов он уже преподнес. Он все учит меня, этот Павлик, что мужчина любит глазами, а женщина ушами… Ну, она и заинтересовалась им, загадка он уже для нее какая-то, разгадать ее надо. А его не очень-то легко разгадать, если он что задумает… Пока в душу к человеку не залезет, до тех пор и не разгадаешь. Это у него прием такой. Верный, говорит, прием, ни одна рыбка еще не сорвалась…

И вот смотрит она на него, а он как будто и не обращает внимания… тараторит себе и тараторит. Что для такого момента нужно? – учит он меня. Нужно пыли побольше подпустить, очаровать женщину во что бы то ни стало. Ну, он и говорит, небрежно так, но на хорошем английском языке. Я-то, правда, так себе английский знаю, но все-таки знаю:

«So if you have loved some woman and some country, you are very fortunate, and if you die afterwards it makes no difference…»

«Да что же это такое? – умиляется вдруг она. – Как красиво! Что это?»

«Что? – спрашивает в свою очередь удивленно Павлик. – Да вы разве не знаете?»

«Да откуда же? – говорит она. – Ведь я не знаю языков… Это английский, кажется?»

«Английский, – соглашается он покровительственно, а сам опять чуть-чуть усмехается: английский-то, мол, английский, да не совсем английский. – Это американец Хемингуэй, папа Хэм…»

«Ой, как интересно!»

«Еще бы, – подхватывает он, – не интересно. Это все-таки Хэм!»

«А вы на русский, Павлик, можете перевести? Что такое он сказал?»

А он говорит:

«Отчего не могу перевести, перевести можно… – А в тоне его примерно вот что: я все могу, только зря-то стараться, даром-то, не очень хочется… Правда, для вас-то, в виде исключения, пожалуй, и соглашусь, даже с радостью, может, соглашусь…»

«Ну так переведите, Павлик!»

«И если ты любил какую-нибудь женщину, – начинает он, – и любил какую-нибудь страну, то тебе дьявольски повезло, и если ты умираешь потом, это не имеет значения…»

«Как, как вы говорите, Павлик?!»

«…и если ты умираешь потом, это не имеет значения…»

«Боже, как здорово сказано! «…если ты любил какую-нибудь женщину и какую-нибудь страну…» Вот как надо любить, вот что такое любовь!»

И вот теперь сомнение во мне, подозрение. Понимаешь, Ваня, ненавижу я этого Павлика. Обойтись без него не могу на работе – а ненавижу! Он иногда куда-то пропадает, на несколько дней. Несколько раз я его на вокзале встречал; по глазам вижу – смеется он надо мной, издевается… До чего я дожил! Ничего не знаю, никому не верю! Себе не верю! Тяжело!

– Это точно! Это так – нелегко, – согласился Ваня. – Вот скажи, скажи, друг Антонин, кто читает ныне Георгия Валентиновича Плеханова? Кто из нынешней молодой шпаны, не буду говорить – внимательно, хотя бы просто читал прекрасное плехановское «К вопросу о роли личности в истории» или «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю»? Кто? А вот я, Иван, двадцать раз читал и еще сто раз прочту, потому что я умный, индивидуальный человек! Я простора хочу, ибо я не совсем обыкновенный человек, не-ет! Личности, говорил Плеханов, благодаря особенностям – во, особенностям! – своего характера могут влиять на судьбу общества. Мо-гут! И я – тоже могу! И Антонин – тоже может! Поэтому вот тебе мой совет: прийти в понедельник на работу и плюнуть в Петра Никандровича: на тебе! Точно, точно! Потому что ему, значит, можно над человеком издеваться, лгать его заставлять, а нам что же – даже плюнуть в него нельзя?! Ну уж дудки, Петр Никандрович! Мы ведь знаем кое-что, мы о роли личности знаем многое… И вообще мы знаем все, нас не проведешь…

IV

– Билет, билет, говорю, покажи! – толкал проводник Коломийцева. – Слышишь? Билет покажи, чего так крепко спишь?..

Коломийцев открыл глаза и сквозь пелену увидал человека с грустными, понимающими глазами.

– Спасибо, что разбудили, – сказал Антонин Иванович. – Воздухом пойду подышу, муторно. – И встал, пошел в тамбур.

– Билет, билет покажи, – настаивал проводник, идя следом. – Слышишь?..

Антонин Иванович не останавливался, а когда они оказались в тамбуре, тихим и горьким голосом сказал:

– Нет у меня билета, дядя.

– Тогда не возвращайся снова в вагон. Не возвращайся, прошу тебя.

– А не договоримся мы с тобой, дядя? – Но просьба Коломийцева звучала как бы безразличной к ответу.

– Нет, не проходи больше в вагон. Не надо…

– Ну, все равно… Закуривай. – Антонин Иванович протянул папиросы.

– За это спасибо. Теперь пойду. Кури здесь один… Только контролеры пойдут, высадят тебя. Далеко едешь, едешь далеко?

– К вам в столицу. В Ташкент.

– Ой-ой-ой, далеко Ташкент! Билет не купишь – высадят…

Антонин Иванович остался один, курил… Странным и смешным даже показалось ему, что вот он уже как будто не пьян, не безумен, но все равно покорно согласен в себе: ехать надо, и раз едется в Ташкент, то в Ташкент и надо… Уж и не вспомнить, как и куда они вышли с Ваней из ресторана, плыли лишь фонари над платформой… а потом Ваня уже и не вспоминается… Вот только тревожный гудок электрички… и голос диктора: до отхода поезда на Ташкент остается две минуты… и как заныло внутри, встревожилось сердце – бежать, бежать на край света, подальше от всего этого, подальше… И это «все» в тот момент было не вещественным, не реальным, а просто – «все, все»! – так что мчаться отсюда, мчаться, пока желание –

серьезное и действительное. Но вот теперь он понимает, что это было не серьезное и не действительное желание, это как безумие было, но все равно – даже теперь – он согласен уехать и упрям в желании: ехать, ехать… И бежал он на поезд, чтобы не опоздать, чтобы уложиться в две минуты, трудно пришлось, но поезд тронулся – и он был в нем, шептал: «Прощай, прощай!..» – и никакого сомнения, что не вернется сюда никогда, – да и не могло быть такого сомнения… Потом он сидел в вагоне, слушал узбеков, как они разговаривают и играют в карты, засыпал… Была уже ночь, пассажирам пора укладываться спать, но, видя, как Коломийцев как-то строго и одновременно горестно вдруг заснул, они не будили и не прогоняли его с законных своих плацкарт, разрешили посидеть, отдохнуть пока… Он спал и видел сон, но ничего теперь не вспомнить… Выручил пассажиров проводник: он пошел по вагону спрашивать билеты, записывать, кто куда едет и когда кого где разбудить, чтобы все было в порядке, чтобы люди остались довольны… Он-то и разбудил Коломийцева, так что теперь стоит он, безбилетный, в тамбуре, курит и вспоминает.

И чем больше думал Антонин Иванович, тем несправедливей казалась ему судьба. Вот он такой человек, что никому не то что не делал – даже не желал зла, да и ему, кто ему желает зла? А между тем поезд мчится в Ташкент, и он, Антонин Иванович, согласен с этим, потому что иного выхода, как бежать, нет.

Но от кого бежать?

Думает он об этом упрямо, мучается – но ответить не может. Может, он бежит от Петра Никандровича, боится его, трусит? Конечно, думает он, боюсь, боюсь, вспомни весь день, весь свой утренний страх! Да, это так, но все же не в этом дело… Да почему не в этом? Нет, не в этом, не в этом, все же упрямится он, потому что если бы в этом, то разве стоило бы бежать? Ерунда!.. Тогда почему, почему вместе с людьми, которые едут на родину, к себе домой, спешит в далекий, не нужный ему Ташкент и Антонин Иванович Коломийцев?.. И он начинает думать о жене, о сыне, вспоминает их с мучительным беспокойством… Вновь встают все ссоры перед глазами, вновь видит и слышит он то правду жены, то свою правду, то правду всех троих – отца, матери и сына, то вдруг возьмет свою сторону, то сторону жены и сына, – и такая тут начинается головная боль, что чуть постанывает Коломийцев, бросив папиросу и потирая виски. Нет, неправда, что бежит он от Светы, от Саши, потому что не бежать ему хочется от них, а наоборот – прийти к ним, наладить жизнь и любить их, свою семью, и чтобы они его тоже любили, чтобы все было хорошо… Но когда он приходит к ним, вот именно он, муж и отец, вот такой, какой есть, не делающий и не желающий никому зла, то отчего-то как раз происходит отдаление. Но уж совсем странным – как озарение – показалось (может быть, только показалось?) Коломийцеву то, что чем дальше уносит его поезд от Тюмени, тем не жена и сын становятся ему ближе, – он их и так, без побега этого любит, – а наоборот, он, Коломийцев, становится им, особенно Свете, ближе, родней, он как бы почувствовал это за Свету, каким-то сверхчутьем угадал, но это было лишь миг, и тут же расплылось, растаяло… И не успел ухватить Коломийцев, в чем тут дело. Как-то сразу, за этим же, навалилась обида – обида горькая – на Светлану, вспомнилось, как разговаривала она с Павликом и как старалась показать ему, мужу, что нравится ей чем-то этот озорной мальчик; обиделся он на жену и за то, что вот и Ване даже, вовсе незнакомому человеку, взбрело засомневаться в ней, но он, муж, не хочет во все это верить, не может поверить, нет, нет! Ведь он знает – она любит его, только не принимает почему-то такого, какой он сейчас, не принимает. Но почему? Нет, не принимает… Да и не из тех она, конечно, женщин, чтобы маленькие Павлики могли всерьез заинтересовать ее…

И это так… так-так-так… – стучит, гремит убегающий из Тюмени поезд.

Убегающий…

От кого, от кого бежит Коломийцев? Не от Павлика же, в самом деле, не от Вани, например, не от жены, конечно, не от сына, не от кого еще?.. Да ни от кого вообще не бежит Антонин Иванович! Откуда, думает он, взялся в голове этот дурацкий вопрос? Чепуха все это! Почему

обязательно от кого-то бежать? Ни от кого он и не бежит, взбрело в голову, зацепился в голове проклятый этот вопрос, а ничего-то и нет на самом деле! Ничего, ничего!

И только, было, подумал, что теперь уж все, легче станет, отбросил он нелепые и мучительные вопросы, вот, мол, вот полегчает – как в тамбур вошли два контролера и нисколько, кажется, не удивились, что стоит здесь безумный на вид пассажир, вокруг окурки валяются, а времени уже третий час пополуночи…

Но вот когда была уже первая после Тюмени продолжительная остановка, спокойствие их улетучилось… Всей душой они ненавидели Антонина Ивановича, потому что не понимал он, шумел, не хотел понимать, что нельзя без билета! А что у него денег нет на билет, это их совсем не касается, нет денег – не езди, поэтому они пока культурно просят – выходи, выходи давай! – а если не понимает по-хорошему, то они сейчас живо милицию вызовут – это они быстро могут…

И чем ясней становилось Коломийцеву, что придется сойти, тем яростней было желание остаться в вагоне, ехать – туда, в ненужный Ташкент, и он умолял, просил, требовал – ничего не помогало.

Он вышел.

Он стоял внизу, на земле, а контролеры, взявшись за поручни, темнели, казалось, высоко вверху, и Антонин Иванович, совсем не узнавая себя, задрав лицо кверху, пытался еще и еще упросить их… А была ночь, темная, холодная, осенняя, дул ветер… Коломийцев поднял воротник, нахохлился и… придумал выход, едва скользнув взглядом повдоль вагонов. «Хорошо же, – думал он злобно, – хорошо…» И как только дернулся поезд, так дверь в вагон шумно захлопнулась, контролеры удовлетворенно вздохнули, но Коломийцев не остался стоять внизу растерянный и несчастный, он тотчас бросился к соседнему вагону, где, случайно или нет, но дверь была открыта… Бежать пришлось по движению поезда, но он лишь начинал набирать скорость, так что без труда нагнал заветный тамбур Антонин Иванович…

Он стоял в тамбуре уже минуту, две… жаждал, чтобы поезд вдруг полетел как стрела, но будто назло тащился он очень медленно.

– А-а, опять ты тут! – услышал Коломийцев знакомый, прерывистый от гнева голос: перед ним стояли контролеры!

И неминуемо завязалась борьба!

И вот лежит уже, не покалеченный и не сорвавшийся с поезда, лежит, а потом подымается и стоит на земле Антонин Иванович Коломийцев, и смотрит с тоской и презрением вслед уходящему поезду. Что думает, что решает он? Ничего – не думает, не решает…

А потом он идет на вокзал и, войдя в него, вдруг ясно и отчетливо сознает, что трезв уже совершенно, словно и не пил. И долго бродит Коломийцев по вокзалу, и смотрит на спящих повсюду людей, и удивляется, отчего их так много, почему не спят они в своих сибирских квартирах или, если они не местные, почему не уехали отсюда заранее? И вдруг он чувствует, что, как это ни странно, а наступило в нем успокоение: ни в Ташкент, ни в Тюмень, ни к черту на кулички ему не хочется, никуда… Все кажется теперь призрачным, смешным донельзя, глупым, все его мечты, все его желания. Он идет к свободной скамейке, садится и закрывает умиротворенно глаза…

Он проснулся от неожиданного и бесцеремонного шума вокруг. Было уже утро, тусклый заоконный свет будоражил толпу, все спешили, толкались, беспокоились, как бы без них не ушла первая ранняя электричка.

Вдруг странное, сильное беспокойство подхватило и Антонина Ивановича. И не сумел он еще осознать это беспокойство, как уже бежал вперед, обгоняя спешащих, как и он, людей на электричку. И даже, уже устроившись, заняв удобное место у окна, и даже вспомнить Антонин Иванович не вспомнил, что нет у него ни билета, ни денег, ни, значит, права ехать в такую

далекую, как теперь кажется, Тюмень. Да и что тут беспокоиться… Это-то и есть ерунда… совершенная ерунда…

И правда: тронулся поезд, замелькал в окнах вокзальный пейзаж, уходя назад, назад… И совсем непонятное по своей природе беспокойство – не о деньгах, не о билете – все больше и больше начинало тревожить Антонина Ивановича. Все чаще спрашивал он себя: за каким чертом он здесь, в этой глуши? За каким дьяволом потянуло его в Ташкент? За каким вообще он напился вчера? Ах, Коломийцев, Коломийцев, думал он, упрекая себя, пропадешь ты со своим характером, пропадешь, ни за грош пропадешь… Подумать только – потерять вчера целый день! Вместо того, чтобы подумать, взвесить, решить, какую бумагу в понедельник отдавать Петру Никандровичу или уж, в крайнем случае, чтобы семейные дела утрясать – в Ташкент, к козлу на рога покатил! Хорош гусь, ничего не скажешь, хорош! Да-а!..

Так и несла Антонина Ивановича Коломийцева, безбилетного, безденежного и бесправного, несла и несла электричка в Тюмень. И Тюмень эта все ближе и ближе. И чем она ближе, тем острей беспокойство; беспокойство это становится вскоре и не беспокойством, а страхом, и будущая – после воскресения – неделя кажется строгой, беспощадной Антонину Ивановичу Коломийцеву.

Пространство и время
Повесть

На вечере по случаю пятилетия супружеской жизни Вагановых заговорили о верности.

Были мнения такие: верности нет; верность есть; верности нет, потому что ее вообще не может быть; нет ни верности, ни любви; любовь есть, но что такое верность? – мираж; все это не так – есть только то, чего нет; а это уж совсем непонятно: выходит, мы живем иллюзиями?..

Молчал лишь Дмитрий Ваганов.

– А знаете, почему он молчит? – спросила гостей Лена Ваганова и обвела всех веселым взглядом.

– Почему?

– Потому… – она смело встретила взгляд мужа. – Потому… что Митя ведь предатель. Да, Митенька, да!

Лена погрозила озорно пальчиком и непринужденно рассмеялась, будто получилась хорошая шутка. И все тоже весело рассмеялись…

Вскоре, однако, о шутке забыли; спорили о том, какой теперь сложный век, кого считать хорошим, кого плохим, и о прочем.

Дмитрий Ваганов участия в споре не принимал.

Он после слов жены вдруг почувствовал жесточайший приступ обиды, обида растекалась по всему телу – Ваганов ощущал ее движение, грубый напор и силу. Вскоре ему даже показалось, что уже не обида растекается в нем, а сам он, вместе с мыслями, ощущениями и восприятием, растворился в обиде.

И было так, словно за общим столом сидели семь человек и одна обида, и у этой обиды обостренный светился изнутри взгляд. Вот жена, которая с легкостью назвала его предателем, разумея при этом что-то свое, несправедливое, а вот друзья, которые с той же легкостью посмеялись сами не зная над чем. И вот он…

«За что? – думал он. – За что?..»

Он размышлял над тем, почему жена назвала его предателем и размышлял серьезно, потому что знал, что жена вовсе не шутила, а высказала какое-то тайное свое раздумие о нем, муже Мите Ваганове.

И всегда, когда было ему очень обидно и больно, он мечтал остаться один, то есть не просто остаться, а убежать от всех, скрыться, спрятаться, потому что страдание на виду у всех невыносимо.

Ему казалось, что душа его сродни душе собак, которых он понимал и любил. Он то в них понимал и любил, что, когда им больно и тягостно, они убегают, а куда – знают только они.

– Ты куда, Митя? – спросила она.

– Так… Я сейчас, – ответил он и взял с полки какую-то тетрадь.

В коридоре он надел плащ и фуражку, и, когда открыл уже дверь, сзади его обняла мягкими теплыми руками жена и прошептала:

– Митя, ну что с тобой?

Он повернулся, посмотрел ей в глаза и виновато, но серьезно улыбнулся:

– Я подышу немного… Это ничего.

В приоткрытую дверь он увидел, как на них, вернее – на Лену, смотрит из комнаты Борис и ухмыляется глазами. Это он говорил: нет ни верности, ни любви.

Ваганов вышел, мягко закрыв за собой дверь, как будто так просто вышел, действительно погулять, подышать, а не чтобы убежать, скрыться…

Он боялся погони, как боялся ее всегда, потому что он, когда убегал, чувствовал, от чего убегает, а тот, кто его догонял, не понимал, зачем догоняет. Догоняли его просто из мысли: раз

бежит— надо догнать, вернуть, остановить… И, боясь этой бессмысленной погони, Ваганов вдруг побежал по лестнице вниз… Мелькали ступеньки, перила, двери…

Он выбежал из дома и вздохнул облегченно прохладным воздухом.

Была осень, 25 сентября.

* * *

По Кузьминской улице он побрел к Кузьминским прудам. Он шел и думал, что здесь, на окраине Москвы, такой же порой тихой и чуткой становится душа, как в каком-нибудь ином, далеком от людей месте… И он вслушивался в себя и ничего, кроме общей обиды, поначалу не слышал… Затем мир, что окружал его, ожил для него, он расслышал, как тонкий и совсем нетревожный ветер шумит далеко вверху в кронах старинных лип, и думалось, что, возможно, этот же шум среди этих же, или подобных, лип слышал царь Петр, когда бывал здесь, в Кузьминках, когда приезжал посмотреть сюда своих коней в отменных конюшнях… Воистину думаешь так, хотя бы и было в прошлом иное: томительно, но и радостно знать, что все, с чем общаешься ты, общалось некогда с далекими твоими предками, и высокая мысль о бесконечном общении людей в природе, через природу, так тревожна, так хороша в тебе!

Ваганов с дороги ступил на тропинку, которая вела уже в настоящий лес… Через лес, изредка останавливаясь и постукивая сухим, пахучим сучком по стволам сосенок, Ваганов медленно шел к прудам. Он примерно чувствовал, где те пруды, то есть чувствовал расстояние до них, и поэтому даже мог представить, будто видит какую-то темноватую голубизну воды сквозь деревья вдали. Но был вечер, и вдали было темней, чем вокруг, так что Ваганов, как много уже раз в жизни, мир дорисовывал чутким, даже болезненным своим воображением.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.